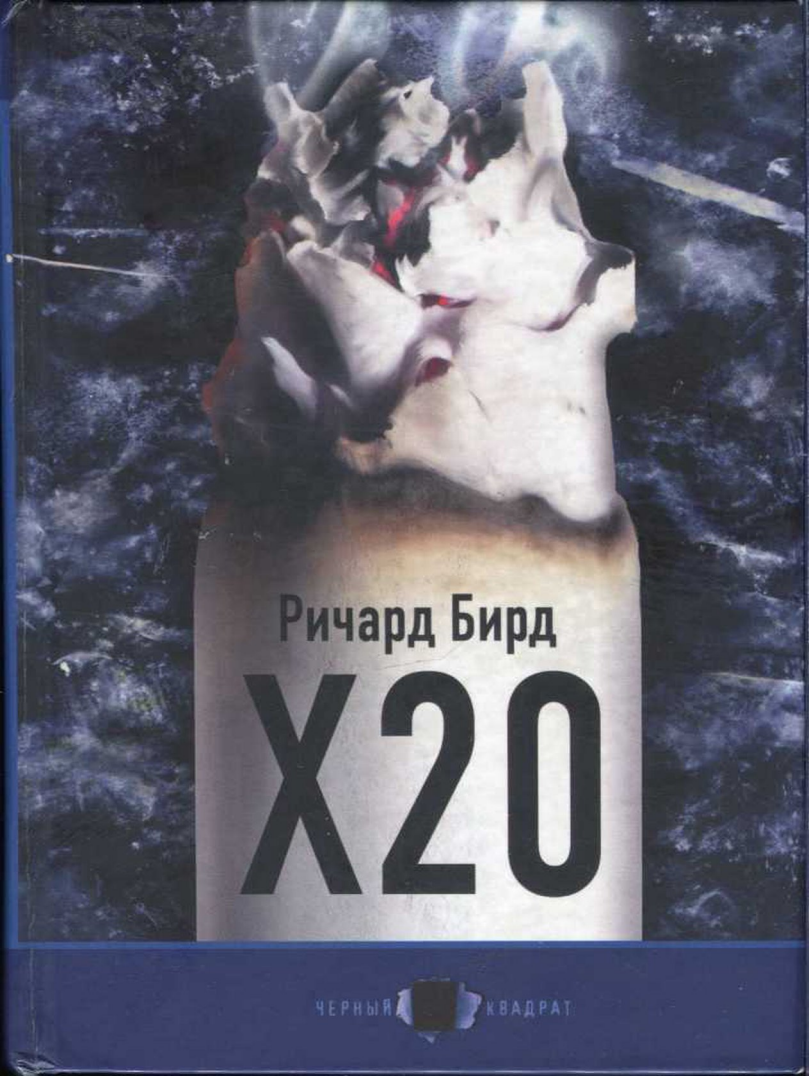

Ричард Бирд
X20
ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

X20

Ричард Бирд

Аннотация
Ричард Бирд. X20
День. 1
День. 2
День. 3
День. 4
День. 5
День. 6
День. 7
День. 8
День. 9
День. 10
День. 11
День. 12
День. 13
День. 14
День. 15
День. 16
День. 17
День. 18
День. 19
День. 20

Аннотация

“Меня бросили опустошенного, покинутого, невинного, и мне чертовски жаль себя нынешнего, а мое колено выбивает под столешницей дробь, наивно пытаясь продержаться без ежечасного удовольствия. Сведи желание к его основе: Я не хочу курить. Не хочу курить. Хочу курить. Курить”.

Каждый день убиваешь себя и надеешься выжить, испытываешь судьбу на прочность, играешь с божествами в рулетку. Каждый день может оказаться последним. Ради права вдыхать дым, а не воздух, человечество идет на смерть, отчаянно цепляясь за жизнь, выдумывая отговорки, сочиняя философию и трансформируя искусство.

Перед вами первый роман Ричарда Бирда “X20”. Теперь вы не сможете смотреть на сигареты, не помня о том, как быстротечно время и непредсказуемы повороты судьбы. Не помня о смерти.

Ричард Бирд
X20

Посвящается доктору Джону Ли

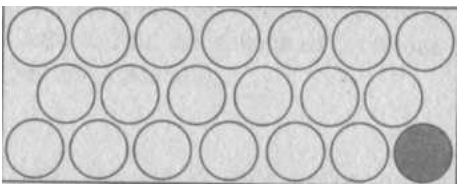
По всей видимости, в будущих исследованиях взаимосвязи повышенного давления, курения, ожирения, непереносимости глюкозы, физической активности и генетических отклонений ученые все чаще будут задействовать приматов.

Стронг Дж. П. (ред.)
“Артериосклероз у приматов” в сборнике “Приматы в медицине”, т. 9
(“С. Каргер Пресс”, 1976)

Зависимость сохраняется благодаря сложной системе обманов.

Джиллиан Райли
“Как навсегда бросить курить”
(“Вермилион”, 1992)

День 1



Доктор Уильям Барклай, родился 7 марта 1936 года, умер 3 марта 1994 года в возрасте 57 лет. Великая Тайна. Как он говаривал, основа всякого зарождения — деление.

Отвлекись. Придумай себе новое хобби. Займи чем-нибудь руки.

Он говорил, что табачная мозаика может захватить табачное, или картофельное, или помидорное поле всего за один день, вызвав хаос во всей агрикультурной экосистеме.

Старайся не думать об этом. Бывай в общественных местах. Весь день крутись как белка в колесе. (365x20x10)+(2x20) (високосные годы). Выходит

ровно 73 040. Плюс 17 внеплановых. Не примерно, не приблизительно, а ровно семьдесят три тысячи пятьдесят семь. И все-таки доказать трудно.

Уолтер как-то рассказывал мне, что раньше старые паровозы, которые на всех парах неслись домой, говорили “сигареты чух-чух, сигареты чух-чух”. Стало быть, звук паровоза, старого паровоза, несущегося по старым рельсам домой, выпуская клубы дыма.

О сосредоточенности я знал. Что сосредоточенность будет элементом задачи. Что беспокойный, неудовлетворенный разум станет перескакивать от одной неудовлетворенности к другой, точно ребенок, застрявший в кустах боярышника в сильный ветер, на высоком холме, зимой. Ночью.

Люси Хинтон, располневшая и окруженная детворой. Ее затылок превращается в трубу, в почерневшую дымовую трубу паровоза, что пускает дымовые сигналы, которые хотя бы говорят “прощай”.

Держись подальше от курящих друзей. Подавляй желание.

Кормежка пса отвлечет разум. Ученые ставят

опыты над животными, чтобы избавить людей вроде меня от лишних неудобств.

Джулиан Карр, доктор Джулиан Карр, ходил на работу в лифчике своей сестры.

Дыши глубоко. Не отказывай себе во всем остальном.

Всегда твердые пачки “Кармен № 6”, ни в коем случае не мягкие, хотя когда-то мягкие были в моде, особенно в Париже, где я однажды был.

Я ненавижу и презираю куда больше вещей, нежели могу назвать. Мои легкие болят. Избегай напряженных ситуаций. Пользуйся общественным транспортом.

В квартире над закусочной Лилли, где мы жили, Тео делал один скачок и один прыжок, и Лилли приносила наверх большой пирог без картофеля. На каждое блюдо у него была своя пляска, готов поклясться, что кот отличал па, означавшее треску.

Интересно, были бы счастливы мои родители, если б их единственным ребенком был не я, а доктор Джулиан Карр? Случай в Гамбурге опустим.

Всю жизнь бесконечные белые пачки “Кар-

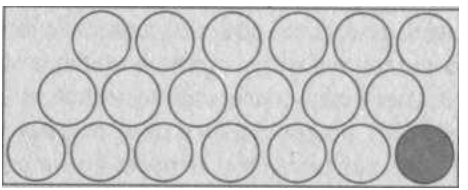
мен № 6”, на кроватях, столах, креслах, во всех закоулках моей жизни. Логотип в виде силуэта черных кастаньет, похожий на вскрытую раковину гребешка. Теперь значок двойных кастаньет чаще всего встречается за воздухозаборником гоночных машин “Формулы-3” или где-нибудь в укромном уголке афиши Английской национальной оперы.

Он как-то сказал — мир можно изменить, а я сказал — нет, нельзя.

Есть еще гипноз, метод отвращения, психоанализ, иглоукалывание, лечение электрошоком и возможный переход в церковь адвентистов седьмого дня, считающих сигареты адским изобретением.

Меня зовут Грегори Симпсон. Мне тридцать лет. Пытаюсь не сидеть сложа руки.

День 2



Когда-то, еще в бытность мою подростком, мои родители гордились тем, что я не курю. Всякий раз, когда я обещал никогда не курить, они одобряли мое здравомыслие, а затем несколько секунд безмолвно вспоминали моего дядю Грегори. Дядя Грегори умер от рака в 48 лет зимой 1973 года.

До дядиной смерти мой отец каждое Рождество в начале обращения королевы закуривал сигару “Король Эдуард”. Он откидывался на спинку кресла, пристроив четыре пальца сверху вдоль сигары, и курил, счастливый, как король Эдуард. Теперь, стоит мне завидеть королеву, она пахнет дымом рождественской сигары.

Тринадцать лет назад, в тот — как выяснилось,

единственный — год, что я провел в университете, мне выделили комнату в мужском общежитии корпуса имени Уильяма Кэбота. В соседней комнате жил Джулиан Карр, куривший “Бьюкэнен Сенчури”.

Стенка между нашими комнатами была тонкая, и когда к Джулиану приходили гости — а это случалось нередко, — за ней прекрасно слышались раскаты его выразительного голоса. Дым его сигарет и сигарет его друзей постепенно просачивался снизу, сверху и по бокам разделявшей нас стены, проникая в заштукатуренные щели. Моя мать назвала бы это покушением на убийство.

Джулиан Карр изучал медицину. Его обучение финансировалось Королевской сигаретной компанией “Бьюкэнен”. Поэтому сигареты “Бьюкэнен” доставались ему совершенно бесплатно, а курил он марку “Сенчури”, которую производили исключительно в Гамбурге.

Я встретил доктора Уильяма Барклая почти ровно десять лет тому назад, на территории Центра исследований табака Лонг-Эштон прямо за чертой города, когда только-только вернулся из Парижа.

— Зови меня Тео, — сказал он. — Меня все так зовут.

Стоял февраль, было холодно, мы оба курили — в коридорах и лабораториях Центра исследований это строго запрещалось. Я, естественно, курил “Кармен № 6”. У него была пачка “Кельтик”, купленная во Французской Гайане. В такой холод и не поймешь, что выдыхаешь — пар или дым.

По причине загара Тео выглядел не по сезону здоровым, к тому же загар отлично сочетался с ослепительной белизной халата. Но самое удивительное — это его волосы. Уже седые, они стояли дыбом, как воплощение изумления в школьном спектакле. Пряди были разной длины, голова смотрелась совершенно безумно, волосы били из черепа во все мыслимые стороны. Кроме того, я заметил маленький вертикальный шрам у него на верхней губе.

Мы бесцельно шли по живописной территории мимо гаревой беговой дорожки и асфальтированного теннисного корта, соразмеряя шаг со скоростью горения сигареты — инстинкт, которым я все еще восхищался в других. Наконец мы дошли до узкого пруда — границы территории, прямо у самой ограды. Тео спросил меня, новенький ли я, и я сказал, что да.

— Есть где жить?

Я сказал, что есть.

Он сказал, что выиграл поездку во Французскую Гайану в игре “Угадай мяч”.

Примерно семь минут сорок пять секунд назад пришел Уолтер. Уолтеру сто четыре года, но он не выглядит и на девяносто. Он пользуется палкой и в любую погоду — и дома, и на улице — носит шляпу или кепку. Изначально тщетная попытка скрыть свою совершенную плешивость стала привычкой, и сегодня на нем зеленая брезентовая шляпа от дождя. Спереди к ней пришпилена эмалированная кокарда с изображением развалин в Тинтагеле, на которой снизу красными буквами полукругом напечатано “ТИНТАГЕЛЬ”.

Уолтер сидит в своем любимом кресле под забранной в рамку афишей с изображением Пола Хенрида и Бетт Дэвис в фильме “Вперед, путешественник”. Он курит трубку, невозмутимый, как индейский вождь, и вглядывается в сердцевину своих воспоминаний.

Он уже спросил меня, чем я занимаюсь.

— Пишу, — сказал я.

— Что именно?

— Да так, всякое.

— Зачем?

— Отвлекает. Да и руки заняты. Сам понимаешь.

— А я вот решил заскочить. Посмотреть, как ты тут.

— Ничего.

Мои легкие съеживаются, а сердце начинает болеть — я почти задыхаюсь от неутоленного желания.

— Оказалось намного проще, чем я думал.

Но Уолтер не слушает. Он разглядывает комнату.

— Когда ты в последний раз выходил?

— На похороны.

— А. Что ж, тогда все понятно.

Родители провожали меня в университет так, словно я отправлялся в одиночное кругосветное плавание, хотя уж они-то прекрасно знали, что мир плоский. Он всегда был плоским, в их жизни он всегда был плоским. Обнявшись, они стояли в дверном проеме, размахивая воображаемыми платочками.

Вдруг, сам того не желая, я понял, что мне их не хватает.

В своих еженедельных письмах мать почти не пользовалась точками. В основном она ставила восклицательные знаки! Стало быть, она открыла, что события ее жизни можно сделать восхитительными, прибегая не к преувеличени-

ям, спиртному или наркотикам, а всего-навсего к пунктуации.

Опасаясь, что в университете я с теми же целями начну курить, она часто слала мне предостерегающие газетные статьи. К ее письмам цветными пластмассовыми скрепками были пришпилены аккуратно вырезанные колонки из “Дейли экспресс” или “Гардиан”, а порой из “Космополитен”.

Ожидалось, что около половины курильщиков умрет от заболеваний, связанных с курением.

Сто десять тысяч преждевременных смертей в Англии вызваны курением.

У курильщиков возможность подхватить рак легких подскочила на 980 %.

Я читал бесконечные колонки с процентами опасности и узнавал из них равную и равноценную меру страха родителей, всегда опасавшихся худшего. В своих редких письменных ответах — и всегда по телефону — я заверял мать, что все еще не курю и начинать не собираюсь. Повторение этого обещания превратилось в ритуал, в привычку, которую нелегко побороть. Более того, это превратилось в простой и ненавязчивый способ сказать ей, что я ее люблю.

Несмотря на то что сам я не курил, я вскоре

обнаружил, что общество курильщиков мне симпатично. Это было какое-то сопротивление по доверенности, каждая прокуренная комната — мгновение пассивного сопротивления. Особенно меня впечатлял Джулиан Карр, который курил до завтрака и во время еды и умел зажигать спички в сложенных лодочкой ладонях, как Хамфри Богарт в Париже в фильме “Касабланка”. Я ссужал его сахаром и отдавал ему последний ломтик бекона. Когда у него кончались спички, я разрешал ему прикуривать от раскаленных прутьев моего электрообогревателя.

Я узнал, сколько у него братьев (один старший) и сестер (одна старшая). Он говорил, что у него было счастливое детство, и это казалось правдой. В школе он потерял девственность в четырнадцать лет, и его избрали капитаном команды по регби. Он продавал марихуану девочкам-пятиклашкам. Он читал Джеймса Джойса. Я отдавал ему последнее яйцо.

В ответ он приглашал меня на вечеринки, куда приглашали его, а это были лучшие вечеринки. Там были самые большие бочонки пива, самая громкая музыка и самые светловолосые девчонки, многие из них иногда возвращались в его комнату и тихо курили сигареты до самого утра.

Так я встретил Люси Хинтон. У которой были черные волосы.

Вздрогнув во сне, наполненном перебежками и сдавленными приказами быть начеку в окопах Первой мировой, Уолтер внезапно просыпается и опрокидывает треугольную пепельницу, пристроенную на подлокотнике его кресла.

Я говорю ему, что все в порядке. Успокаиваю его. Подбираю пепельницу и отдаю ему.

— Я видел сон, — говорит он.

— Надеюсь, что так. Было бы неприятно думать, что ты стареешь.

— Я когда-нибудь рассказывал тебе, — говорит он, — о зеленом кисете из обезьяньей кожи, который я потерял во время охоты на кабанов в лесу при Компьене в 1903 году? Мне было всего тринадцать.

Но говорит он это без особого воодушевления, не так, как раньше, а леса при Компьене помнит без всяких рассказов, в одиночестве ступая в обширный огражденный заповедник своего прошлого.

Помимо прочих достоинств Уолтер обладает самой большой коллекцией сигаретных карточек во всем графстве. Иногда я прошу разрешения взглянуть на какой-нибудь определенный набор

(“Короли и королевы Англии”, например, или “Великие оперные истории”) как на источник быстрой и всегда достоверной исторической справки.

— Ты беременна, — сказал я.

— Именно, чтоб меня.

Люси Хинтон лежала на полу под занавешенным окном комнаты Джулиана Карра в мужском общежитии корпуса имени Уильяма Кэбота. Ее плечи и голова опирались на бежевый пуфик Джулиана, одета она была в джинсовый сарафан для беременных, который застегивался спереди большими черно-белыми пуговицами с эмблемой инь-янь. Ее сцепленные руки покоились на выпуклом животе. За узенькую налобную повязку из бисера было заткнуто одинокое перо.

— Трудно шевелиться, — сказала она, — что неудивительно.

У нее был грудной голос с ленцой, вроде кода, который, как показывала расшифровка, всегда оказывался тихим мурлыканьем песни “Привет, малышка” — послание, которое ее беременное тело изо всех сил старалось приглушить. Походило на какую-то бессмыслицу, будто она говорила на двух языках одновременно.

Я сидел на кровати и смотрел на нее, не обращая

внимания на Джулиана, который перебирал свою музыкальную коллекцию в поисках последнего альбома Сюзанны Веги. Вместо подушки он использовал голову от костюма гориллы: верхнюю часть расстегнул и спустил, открыв футболку с надписью “Бьюкэнен силверстоун спектакьюлар” на спине. Он дышал глубоко и ровно.

Я был наряжен врачом: белый халат, фонарик на лбу и стетоскоп на шее.

— Пни-ка мне его сигареты, — сказала она. — До смерти хочется курнуть.

Сигареты Джулиана лежали на полу у моих ног.

— Какой срок? — спросил я. — Сколько еще осталось? — За сигаретами я и не подумал потянуться. — Я имею в виду — сколько еще до родов?

— Давай посмотрим на это так, — сказала она. — Я хожу на вечеринки, где собираются одни студенты-медики. Так что там насчет сигарет?

— Ты же не собираешься закурить?

— А почему нет?

— Курение во время беременности может привести к повреждению плода, преждевременным родам и низкому весу новорожденного.

Только в последнюю секунду мне удалось удер-

жаться от восклицательного знака в стиле моей матери.

Тео докурил свою “Кельтик”. Взглянул на окурок, затем через плечо, затем швырнул окурок в траву на берегу пруда, чем потревожил утку, плюхнувшуюся в чистую воду. Предложил мне сигарету, от которой мне, разумеется, пришлось отказаться. Я заметил, что одна сигарета в его пачке перевернута вверх ногами.

Он закурил, ругнулся, сжал новую сигарету в зубах, спустился к воде, отыскал предыдущий окурок, вытер его о траву и сунул в карман халата. Выбравшись обратно на берег, сказал:

— Угрызения совести. Мне сказали, тебе негде жить.

— Я устроился в гостинице.

— Платит компания?

— Да.

— У меня есть свободная комната.

Извинившись, я инстинктивно и немедленно отказался. Я пространно объяснил, что мне нужна собственная комната, которая запирается на замок. Что мне совершенно необходимо одиночество. Что я могу пользоваться кухней и ванной, лишь когда там никого нет. Что больше всего я хочу тихо-спокойно жить без всяких вторжений

и с минимальной суетой вокруг.

Если честно, мне не очень-то хотелось даже с кем-то разговаривать.

Люси Хинтон ойкнула и соскользнула с пуфика, расцепив пальцы.

— Ох!

— В чем дело?

— Думаю, это…

— Нет!

— Нет, — сказала она, тяжело отдуваясь, но все же умудрилась вновь опереться на пуфик. — Ложная тревога.

— Самопроизвольный выкидыш, — сказал я, — еще одна хорошо известная опасность.

— Изучаешь медицину.

— Историю.

— Дай мне пачку, — сказала она. — Я не буду курить, просто подержу ради старых времен.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Я передал ей сигареты. Наши пальцы на миг соприкоснулись, и меня еще больше поразила разница между “Привет, малышка” и самой малышкой. Я взглянул на натянувшуюся джинсовую ткань и пуговицы с инь-янь. Подумал о тугой поверхности барабана и о том, что, будь ее кожа

достаточно упругой, она стала бы прозрачной в последние дни перед родами. Тогда были бы видны все движения ребенка и внутренних органов, как в телевизоре.

— Ты хотела забеременеть?

— Я хотела трахнуться.

Она достала сигарету из пачки. Подняла ее к свету, потом, закрыв глаза, провела ею под носом.

Она спросила меня, курю ли я, и я сказал, что нет.

— Я тут вот что подумала, — сказала она. — Ты бы мог покурить, а я бы просто *понюхала.*

Дядя Грегори умер, когда мне было девять.

Мы завтракаем. Дядя Грегори приехал погостить. Мне пора в школу, он собирается меня отвезти на маминой машине. Мама моет посуду у окна в сад. Дядя Грегори стоит в саду и закуривает. Мама кричит ему, что уже пора ехать в школу. Он не слышит, ей приходится постучать в окно. Все еще с сигаретой во рту он обходит сушилку для белья, крутанув ее, как в мюзикле, и, отчетливо двигая губами, произносит: “Что?”. Он приставляет ладонь к уху. Мама кричит ему, что уже пора ехать в школу. Губы дяди Грегори произносят: “Что?”.

Наконец он понимает, что она говорит, и в ту же секунду докуривает. Не помню, опоздали мы в школу или нет.

Я пальцем о палец не ударил, чтобы подыскать себе квартиру. Не видел в этом никакого смысла. Затем компания объявила, что прекращает оплачивать жилье и питание.

Я тогда по-прежнему дважды в неделю являлся в Центр, и в четверг во время перерыва я увидел Тео: он сбивал росу с травы по дороге к пруду. Порой дым окутывал его голову, словно вторая шевелюра. Я догнал его и закурил “Кармен”. Спросил, единственные ли мы здесь курильщики.

— Похоже на то, — сказал он.

— А разве тут не выдают бесплатные сигареты?

— Разумеется. Но большинство видело, что происходит с животными.

— Можно подумать, после этого курить не захочется.

— Именно. — Тео улыбнулся. — Когда-то я сказал примерно то же. Напрочь забыл кому. Мне сказали, что шутка довольно плоская.

— А вы? Вы же проводите эксперименты? Вы работаете с животными?

— Здесь не заповедник.

Он закурил еще одну “Кельтик”, а я открыл рот — сказать, что подумал насчет его комнаты, как…

— Тсссс! — сказал он. — Ты слышал?

— Что?

— Тссс!

В зарослях у пруда раздался какой-то шорох. Похоже на стрекот дрозда в подлеске, когда дрозд прикидывается крысой или барсуком, чтобы одурачить прохожих, чем приводит тех в беспричинный восторг.

— Это всего лишь птица, — сказал я, но Тео уже был на полпути к берегу.

— Но хотя бы *один* раз ты уже *курил*?

В губах у нее была незажженная сигарета. Она стянула бисерную повязку и поймала перо, спланировавшее ей на грудь. Она положила его на живот, где оно задрожало в такт ее дыханию.

Она достала сигарету изо рта и осмотрела.

— А ты выкуришь *эту* сигарету, если я тебя хорошенько попрошу?

— Я ведь правда не курю.

— Ты когда-нибудь слышал, какие звуки издает матка?

Я взглянул на ее вздымавшийся и опадавший живот, дрожащее перо, сморщенную джинсовую

ткань и пуговицы с инь-янь.

— А хочешь услышать? Можешь приложить ухо к моей коже.

Я уже некоторое время не дышал через нос, и мне показалось, что воздух обдирает мне глотку, загустев от соблазнительных примесей. Я соскользнул с постели на колени, чтобы подползти к ней, не доверяя больше словам, уверенный, что вот-вот испытаю… что вот-вот ИСПЫТАЮ НЕЧТО. Такова была жизнь. Образ жизни. Как их рекламируют.

Она протянула мне сигарету фильтром вперед. В другой руке — одноразовая зажигалка, которую Люси привела в действие. Пламя благоговейно озарило ее лицо.

— Выкури для меня эту сигарету, — сказала она. — Я просто хочу понюхать. А потом можешь послушать моего младенца.

Дядя Грегори тринадцать лет проработал мастером на заводе, где изготовлялись огнеупорные двери самого высшего разряда. Он надзирал за деликатным процессом помещения слоя асбеста между двух слоев дерева. Говорят, такие двери спасли тысячи гражданских и военных жизней.

Дядя Грегори курил крепчайшие “Кэпстен” без фильтра. Когда его ноги давали о себе знать, он

ужимался до сорока в день. Он увлекался мотогонками.

Смерть Тео приводит меня в ярость. Хотя не знаю, я постоянно в ярости и думаю о смерти Тео и потому думаю, что это она приводит меня в ярость.

Его легко представить. Он входит в дверь в своем белом халате, перепачканном плодами странных опытов. Как обычно, волосы его всклокочены, он подкрадывается к креслу Уолтера и выразительно подносит палец к губам. Легонько подталкивает Уолтера, а затем шепчет ему на ухо: “Немцы!”.

У него плохие зубы, чертовски плохие зубы, но за исключением зубов он — само здоровье. Он выглядел так, словно жизни в нем хоть отбавляй. Только голова — как у спятившего профессора, и неизменно озорной взгляд этих расширенных глаз.

Пес Тео тоже приводит меня в ярость, он развалился на моих ногах и время от времени скулит просто в силу привычки. Никогда не понимал, почему Тео *любил* этого пса. Этот пес отвратителен. На самом деле этот пес — воплощение ленивого отвратительного пса и всегда был бесполезным и отвратительным. У этого пса нет никаких чувств,

только аппетит: в знакомом промежутке между настоящим и обедом он неизменно подвывает, даже не понимая, что в нем такого знакомого.

Если сейчас заняться его кормежкой, я отвлекусь от сигарет и одурачу дурного пса. К сожалению, это не отвлечет меня от пса.

После смерти Тео я ежедневно получал как минимум пять утешительных писем. Сегодня пришло семь, шесть из них опустили в почтовый ящик лично. Одна женщина принесла своего ребенка из самых трущоб, чтобы повесить венок из одуванчиков на медный дверной молоток рядом с полированной табличкой “Клуб самоубийц”.

— Я не курю, — сказал я.

— Пожалуйста, всего одну, для меня.

— Прости, я не курю.

— Неужели ты не хочешь послушать младенца? Не хочешь его потрогать?

Она щелкнула по одной пуговице — та расстегнулась, — и я увидел ее живот, выпиравший под полосатой майкой.

— Неужели не хочешь?

— Я не курю.

— Ну ради бога, — сказала она.

Она вставила сигарету между губами, закурила, глубоко затянулась, отбросила зажигалку и

посмотрела на меня. Еще раз затянулась и выпустила дым через нос.

И тут же зашлась кашлем.

Ее согнуло пополам, она кашляла, задыхалась и смотрела на меня — радужка видна целиком, а язык сворачивался в трубочку всякий раз, когда она кашляла.

Я попытался вырвать сигарету из ее руки, а она завопила:

— ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ!

Я вскочил на ноги и засуетился вокруг нее, наклонился, а мои руки попеременно пытались то схватить сигарету, то ее пальцы, чтобы она успокоилась, то прижать ее плечи к пуфику, чтобы вырвать у нее эту треклятую сигарету.

Кашель стих, и она вцепилась в меня, стиснув в пальцах фильтр. Она тяжело дышала, ее всю трясло.

— Что? — спросил я. — ЧТО?

— САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫКИДЫШ!

Она рванула сарафан, и одна пуговица отлетела прямо в магнитофон. Она вцепилась в живот, дергая сарафан, майку, свое нутро, в своего младенца, в своего собственного младенца, выплескивая на меня бесконечный поток красных внутренностей, умоляя меня спасти ее недоношенного

младенца.

В высокой траве на берегу пруда что-то шевелилось. Оно пыталось высвободиться или спрятаться. Тео отвел в сторону пук травы: что-то коричневое, живое, вроде коричневых утиных перьев. Оно пыталось убежать.

Тео сильнее раздвинул траву, и на свет, помаргивая, выбралось полуслепое существо. Котенок: шерстка свалялась от сырости, маленькие, окаймленные красным глазки слабы, толком еще не открылись.

Тео взял его на руки. У котенка не было сил сопротивляться, вместо этого он уткнул мордочку в лацканы белого халата.

— Нет, — сказал Тео, — я не ставлю опытов над животными. Я занимаюсь исключительно ботаникой и естествознанием.

Она так хохотала, что не заметила, как я подобрал еще тлевшую сигарету, прожигавшую дыру в пластиковой обложке одного из медицинских учебников Джулиана Карра. Я затушил ее в металлической корзине для бумаг. Люси так хохотала и каталась по полу, что майка под сарафаном слегка задралась, и я разглядел верх ее трусиков через дыру между пуговицами сара-

фана. Она так хохотала, что я разглядел ее пупок, прелестно вдавленный на слегка впалом, ничуть не беременном, заново обозначившемся животе, который опадал и вздымался от хохота.

Один за другим я подобрал красные нейлоновые носки для регби, запихнутые внутрь пары шерстяных колготок, и тупо сжал их в руках.

Уолтер говорит:

— Но это ведь не одно и то же?

Но я не хочу говорить о Тео. Спрашиваю у Уолтера, как поживает его дочь.

— Как всегда, — говорит он. — Вечно занята. Вступила в новый спортивный клуб.

Затем он спрашивает, чем я занимаюсь, и я гадаю, забыл ли он, что задавал мне этот вопрос раньше, или спрашивает, чтобы просто сказать что-нибудь. Он выбивает остатки табака из трубки.

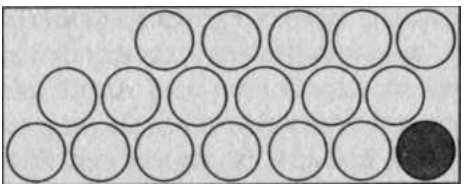
Я опять говорю ему, что пытаюсь не давать рукам роздых, но это не совсем правда.

Когда мне было семь и я ходил в третий класс, мисс Брайант преподавала нам искусство сочинения. Ежедневно после пятого урока мисс Брайант выкуривала одну сигарету “Эмбасси Ригал”. Она выходила за ворота и пряталась за высокой стеной, где, думала она, ее никто не

видит. Меня преследует смутное, но неотвязное воспоминание, будто на уроках мисс Брайант говорила нам, что рассказчик не может умереть. Ведь если рассказчик умирает в конце истории, как он ее расскажет?

Это вторая причина, по которой я пишу, причина, о которой я не сообщаю Уолтеру. Надеюсь, мисс Брайант права, и рассказчик не может умереть.

День 3



Доктор Уильям Барклай (зови меня Тео, меня все так зовут) жил в квартире с двумя спальнями над закусочной, принадлежавшей огромной кубинке по имени Лилли. Будь у меня тогда столько денег, сколько есть сейчас (а нынешних моих денег было не избежать уже тогда), я съехал бы в течение недели.

Изо дня в день он *всучивал* мне вещи. Придя из лаборатории вечером, отдавал мне пластинки, журналы и старый свитер всех цветов радуги, который сам больше не носил. Он отдал мне паззл без коробки, где отсутствовал кусочек неба. Тео сказал, что кусочек сожрал Гемоглобин. Каждый вечер он отдавал мне дневную газету.

— Неужели ты не хочешь знать, что творится

в мире?

— Нет.

Если ему нечего было мне отдать, он расписывал какое-нибудь невероятное блюдо, которое собирался для нас приготовить, где все составляющие закодированы цветом или начинаются с буквы Т. Я говорил — нет-нет, пожалуйста, не надо.

— Да, ты прав, глупая мысль. Впрочем, не очень-то мне хочется готовить.

А когда я закрывал дверь, он вскакивал, подпрыгивал, улыбался не разжимая губ, чтобы скрыть плохие зубы, и вскоре Лилли приносила наверх большую порцию жареного картофеля или что-нибудь еще, в зависимости от пляски. Только теперь заказ всегда был на двоих, и я чувствовал, что должен есть, потому что Тео потрудился заказать и оплатить еду.

В этой слабости виноваты мои родители.

— Прости, — сказала Люси. — Я думала, ты знал, что это маскарадный костюм.

Скрестив руки, я стоял в дверях и смотрел, как она вытирает ладони о футболку и выцветшие джинсы. В кармане отчетливо вырисовывалась пачка сигарет.

— Разумеется, если бы я была беременна, то не

стала бы курить. Можно мне войти?

Мне хотелось сказать “да”, потому что я хотел в нее влюбиться. Впрочем, мне хотелось сказать и “нет”, потому что я слышал, как перед этим она постучала в дверь Джулиана Карра. Его не было дома.

Я шагнул в сторону и пропустил ее внутрь. Она быстрым взглядом окинула узкую кровать, коричневый коврик и пустующую доску для записок на внутренней стороне двери.

— Тебе стоит обзавестись пуфиком, — сказала она. — Обожаю пуфики.

Затем она сказала:

— Ничего, если я закурю?

Уолтер опять здесь, из сочувствия. Думаю, еще и потому, что собирается выкурить несколько трубок тайком от своей дочери Эмми. Кажется, он уверен, что дом в целом и эту комнату в частности вот-вот опечатают судебные приставы, и поэтому действует так, словно каждый день — последний. Мне впервые приходит в голову: а ведь ему невдомек, что дом принадлежит мне. Он хочет знать, какая судьба ждет снимки и рисунки Тео.

— Кстати, где он раздобыл это легкое?

Уолтер имеет в виду сильно увеличенный снимок среза препарированного легкого, висящий

слева от двери. На снимке преобладает розовый цвет. В высоту он меньше, чем в ширину, и Тео поместил его в черную пластмассовую рамку. Похоже на комок жевательной резинки, недавно выплюнутый на раскаленный асфальт. Кто-то подобрал резинку, растянул, а потом заснял вместе со следами прилипшего гудрона и всего остального.

Вывесить этот снимок — как это типично для Тео с его чувством юмора. Снимок задавал тон всей комнате: такая вот искрящаяся ирония позднее стала основным принципом Клуба самоубийц.

Это не моя идея.

Джулиан Карр никогда не сомневался, что окончит университет с отличием, и это позволит ему поступить в аспирантуру университета Дьюка в Вирджинии. После защиты докторской диссертации он намеревался сделать блестящую карьеру на медицинских исследованиях в лаборатории “Бьюкэнен” где-то в Европе. За время недолгого обучения у светила науки он откроет лекарство от рака.

Меж тем он набирал известность в качестве студента. В ноябре он проник в холодильный отсек медицинского факультета и выкрал сердце

и легкие трупа индуса, предназначенного студентам-первокурсникам для вскрытия. Он вскрыл тело сзади, сделав разрез под лопаткой, поэтому спереди оно выглядело нетронутым. Обнаружив отсутствие двух основных органов, одна студентка сказала:

— Я думаю, это неэтично. Все тела, изображенные в учебниках, принадлежат европейцам.

Поскольку Джулиан Карр был моим соседом и другом, он первым сообщил мне слушок о том, что легковерный студент-историк, единственный в корпусе не имевший отношения к медицине, видел роды. Я воспринял его мягкую иронию как знак привязанности и сосредоточился на мысли о том, чтобы влюбиться.

Первое, от чего я отказался твердо и непреклонно и без малейших раздумий, — котенок, которого мы нашли в Центре. Скрестив руки, я загораживал вход в свою единственную комнату.

— Не возьму.

Чтобы лишний раз это подчеркнуть, я закурил “Кармен” и глубоко затянулся.

— Это подарок, — сказал он. — Я купил ему новую бутылочку для кормления и остальные причиндалы.

— Нет.

— С розовой крышечкой и портретом Багза Банни сбоку. Взгляни.

— Нет.

— Но у меня есть пес. Не могу же я держать кота *и* пса.

Грузно приплелся Гемоглобин, подвывая от какого-то воспоминания или в предвкушении еды, понимая, что чего-то хочет, но не зная, чего именно. Он бросил попытки вспомнить, забрался на диван, потоптался и лег.

— Не могу же я держать *обоих,* а? — сказал Тео.

— Нет, — сказал я. — Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах.

— Давай сделаем так, — сказал он. — Пусть все будет по-честному, поэтому бросим монету. Решка — ты его берешь.

— Мне не нужен кот, Тео.

— Орел — ты лупишь его по голове большой палкой, пока он не отдаст концы.

Мать приехала меня навестить.

За два дня до ее приезда я открыл окно. Затем спрятал пепельницу, которую Люси украла в баре, и вытряхнул из корзины окурки Джулиана. В ночь перед приездом я передумал и двадцать минут оттирал внутренность корзины лимонной жидкостью для посуды.

К счастью, Джулиан на весь день уехал в “Бьюкэнен”. Компания пригласила его в виварий, где обезьян учили курить. Люси была в Лондоне на демонстрации против миссис Т, так что в итоге я избежал необходимости представлять свою мать тем, кто для меня что-то значил. Я не выдал ничего личного и ни к чему не привлек внимания.

Вообще-то мать осталась настолько довольна визитом, что предложила купить что-нибудь особенное для оживления моей комнаты. Мы отправились в старейший универмаг города и в зале для некурящих тамошнего ресторана попили чаю. Затем она купила мне черный вельветовый пуфик, доплатив за треугольную этикетку Британского института стандартов с надписью “НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ”.

Уолтер говорит, что играл вчера вечером в домино в “Генерале Гордоне”, и Хамфри Кинг поинтересовался, не против ли я, если он будет время от времени заскакивать, как в стародавние деньки.

— Это было не так уж давно, Уолтер.

— Доживешь до моего возраста — все деньки будут стародавними.

Разумеется, я говорю ему, что я не против.

Он говорит, что старый Бен Брэдли и Джонси

Пол тоже там были. И еще парочка других.

Я не могу удержаться от смеха.

— Приводи всех, — говорю я, — и новеньких, если кто-нибудь еще хочет присоединиться. Притаскивай всю доминошную лигу, Уолтер, если у них легкие выдержат.

— *Я* не могу его взять. Его еще надо кормить из бутылочки, а на работе у меня жалуется секретарша миссис Кавендиш.

— Нет.

— У нее аллергия на кошек.

— Нет.

— К тому же я каждую среду вечером занят и не могу брать его с собой.

— Ты его нашел, ты и бери. Глупо бросать монету.

— Я дал ему имя.

— Я не возьму твоего кота.

— Бананас.

— Нельзя принимать решение, бросив монету.

— Его зовут Бананас.

Я посмотрел на котенка, тот свернулся у Тео на руках клубком и мурлыкал. Коричневые отметины все равно напоминали утку. Он потерся щекой о шерстяную безрукавку Тео, чуть высунув розовый язычок. Знаю, коты не улыбаются, но

когда Бананас так закрывал глаза, я думал, что, возможно, и ошибаюсь.

— Ладно, — сказал я. — Я буду присматривать за ним и кормить в среду вечером. Остальное время он твой.

— Нет, никаких полумер. Держи.

Он вручил мне Бананаса — тот, как ребенок, улегся в моих руках на спинку. Нелепость какая. Тео отправился на кухню, а я поплелся за ним, желая возразить, но на кухне он уже закурил и о коленку пробовал на прочность ручку от швабры.

Я спросил его, что он делает.

— Большую палку, — сказал он.

Если кто-нибудь спрашивал меня “не возражаете, если я закурю?”, мне всегда хотелось сказать “я — нет, но вот моя мать — да”, хоть и не понимал, какое значение имеют взгляды моей матери. Люси Хинтон сказала бы “моя мать — тоже”, перед тем как втянуть в свое длинное горло добрые полтора сантиметра табака и папиросной бумаги “Мальборо”.

Люси изучала английскую литературу. Любила писать и играть. Любила петь и плясать. Любила *выступать*. Собиралась принять участие в постановке “Волшебной горы” для двух женщин,

где играла весь клуб “Пол-легкого”. Издавала поэтический журнал под названием “Фильтр”. Собиралась возглавить свинговую группу “Люси Легкоу и Канцерогены”. Все это было не всерьез — она просто дразнила меня, дергая струны беспокойства, которое я подавлял всякий раз, когда она закуривала.

Дразнить меня было легко, потому что после ошибки, допущенной при нашей первой встрече, я никогда не был до конца уверен, что она не играет роли. Она постоянно меняла внешность, и порой меня пугала мысль, что в действительности Люси никогда не снимает маскарадного костюма, скрывая постоянную беременность, которая и была истинным выражением ее натуры. В какой-то период она стала зачесывать черные волосы в шиньон, закрепляя его электропроводом. Сказала, что подстрижется, когда с пьесой будет покончено.

— С какой пьесой?

— С “Волшебной горой”.

— Я думал, это шутка.

— Режиссер хочет, чтобы действие происходило на Шенандоа.

— Безумие какое-то, — сказал я. — А кто режиссер?

— Джулиан.

Какой толк говорить *что-либо* человеку, которому сто четыре года? Он ничему не *научится.* Я ведь *говорил* Уолтеру не ставить пепельницу на подлокотник кресла. *Болван недоделанный.* Теперь он ее опрокинул, и мне придется идти к шкафу. Достать пылесос, прицепить специальную насадку для пепла, включить пылесос в розетку, размотать шланг, подтащить пылесос к креслу Уолтера, пропылесосить, а затем повторить каждую мороку в обратном порядке.

Вдобавок Уолтер предложил мне сигарету, представляете?

Он сказал, что обнаружил ее за лентой серой фетровой шляпы, которую сегодня надел.

— Наверно, спрятал ее туда от Эмми, а потом забыл. Я тебе когда-нибудь рассказывал, — добавил он, — про иезуита, который курил трубку? Он еще отправился с миссией в Гренландию.

Уолтер немного сдвинул шляпу на затылок и затянулся трубкой.

Значит, миссионер. Иезуит. Гренландия. Иглу. Только самое необходимое для жизни, включая трубку. Ежегодное папское послание. Всем миссионерам принести в жертву святой деве еще одно удобство. Хорошо.

Проходит несколько лет. Миссионер лишился одежды и топлива, но трубку сохранил. Сырая рыба. Лед. Из Рима вновь приходит послание, папа вновь велит принести последнюю жертву.

Уолтер поправляет серую шляпу. Ловкими пальцами в темных пятнах украдкой шарит в кожаном кисете.

— Валяй дальше, Уолтер. Я понял. Что происходит потом?

— Разумеется, он утрачивает веру.

— Это ведь не настоящая история, Уолтер? Где он покупал табак в Гренландии? В иглу, что ли? Это ведь НЕПРАВДА? Это полная бессмыслица.

— Прости, — сказал он, набивая трубку. Но сам-то он наверняка тихо повеселился, наверняка думал, что это действительно *смешно*, поскольку он так смеялся, что столкнул пепельницу с подлокотника.

— Ради бога, Уолтер!

— Прости старика.

Джулиан зарезал постановку “Волшебной горы” на Шенандоа, заявив, что никто не понимает географической иронии. После поездки в виварий он был сломлен, разочарован. На этот раз жизнь как будто не оправдала его ожиданий, и он часами сидел у себя в комнате, никому не

открывая, и бесконечно слушал Сюзанну Вегу. Он отказался принять нескольких блондинок, пришедших его навестить. Гулял подолгу без куртки. Когда я спросил его, в чем дело, он ответил:

— Даже если расскажу, ты не поверишь.

В начале декабря шестнадцать макак выбрались из клеток в виварии Центра исследований табака Лонг-Эштон. Вместо того чтобы сбежать через пожарный выход, который, по странному стечению обстоятельств, оставили открытым, они расколотили все бьющиеся предметы, какие сумели найти. Шестнадцать обезьян все перевернули вверх дном и к утру сбились в кучу в углу, дрожа и блюя после того, как разодрали одиннадцать блоков с 200 сигаретами и слопали весь табак.

Мои родители — славные порядочные люди, что почти искупает недостатки, которые я у них нахожу. Тем не менее их взгляды я почерпнул первыми, и потому мне всегда мешало чувство врожденной порядочности — из-за него я, по-моему, неважно приспособлен к жизни. Они верят в благодарность и доброту и обременили меня упрямыми останками обеих и доверчивостью, которая заставляла меня верить, что все дары Тео предлагались от чистого сердца. В основном

потому, как любит говорить моя мать, что, если начнешь подозревать худшее, неизвестно, куда это заведет.

В университете я иногда делал над собой усилие и писал домой. Я сообщал, что моя учеба продвигается неплохо, хотя зачастую меня страшили исторические события, люди и места, которые я должен был запоминать. Что до более практических аспектов, я говорил, что порой пытаюсь купить нужные мне учебники, чтобы не отставать от остальных.

В ответном письме мать прислала десятифунтовый купон на покупку книг. Выяснив, что обналичить его невозможно, я истратил его на дешевые книжонки.

— Значит, орел — большая палка, договорились? Или мешок, как ты полагаешь? Может, электрошок? Хлебный нож? Нет, мешок или большая палка. Большая палка все-таки человечнее. Правда, тяжелее. Но мешки у меня только полиэтиленовые, а они плавают. Впрочем, недолго. Или Бананас задохнется, а это никуда не годится — задыхаться и царапать герметичный полиэтилен. Пока тонешь.

— Тео, это нечестно. Это глупо.

— Но если ты отказываешься его взять, нельзя

же бросить его на кухне, пока он от голода не умрет, так? Это негигиенично.

— Мы можем просто отпустить его, пускай себе живет на воле.

— Коты не живут на воле, Грегори. Их сжирают собаки. Бросим монету? Значит, хотим решку. Подержи.

Он сунул мне ручку от швабры, чтобы подбросить монету, и это потревожило Бананаса, поскольку он взлетел по моему свитеру и попытался когтями вцепиться мне в горло. Борясь за свою жизнь, я не видел, как упала монета.

— Боже правый, — сказал Тео, подбирая ее с ковра. — Прости, Грегори, но это орел.

Я поинтересовался у Люси Хинтон, почему она курит, и она сказала, это из-за того, что родилась в семье некурящих толстяков.

В начале пятидесятых ее мать еще подростком — из-за продовольственных карточек ее фигурка походила на песочные часы, — стала королевой красоты в Уэймуте. Мужа она встретила в девятнадцать, они поженились в феврале 1953 года, за три месяца до того, как сахар появился в свободной продаже.

— Тогда ее разнесло, — сказала Люси. — Она толстела, пухла, жирела, набирала вес. Она дума-

ла, что не может иметь детей, но в конце концов появилась я. До седьмого месяца никто ничего не замечал.

Для матери Люси еда была доказательством того, что она выросла, и вознаграждением за голодные годы.

— Она научилась готовить, — сказала Люси. — Она пыталась закормить нас до умопомрачения.

— Значит, она хорошо стряпает?

— Грегори, ты иногда такой дурной.

Она закурила, рассекая свет в моей комнатенке косыми струями серого дыма. Она всегда сидела на черном пуфике. Я устраивался на кровати, притулившись спиной к стене и уткнув подбородок в колени.

— Ожирение — это замкнутый круг, — сказала она, помахивая сигаретой. — Она хочет, чтобы все вокруг были жирными и рядом с нею не напрягались. Сестре моей уже кранты.

— Кранты?

— Пятнадцать лет. Пять футов четыре дюйма. Четырнадцать стоунов. При ходьбе хлюпает.

Люси была худа как щепка. Сигаретами она заменяла завтрак, большую часть ланча и все перекусы. Каждая сигарета была орудием в нескончаемой борьбе с матерью, и, хотя Люси

было всего восемнадцать, она уже проявляла недюжинный талант в подобных схватках.

Вдох строго контролируется. На лице закрепляется неподвижная маска, а дыхание через рот достигается помещением металлической распорки между челюстями и закупориванием обеих ноздрей. Сигаретный дым вдувается в лицевую маску через равные промежутки времени, и техник подсоединяет новую сигарету, как только тестируемая сгорает до двадцати двух миллиметров. Электроды, подсоединенные к ЭКГ-мониторам, закреплены на груди и висках, потому что все надо измерить. В член воткнута трубочка, а под задницей установлена емкость, потому что все надо измерить. Все надо измерить, чтобы на результаты можно было положиться.

— Все это настолько бессмысленно, — сказал Джулиан.

Он был пьян.

— Результаты не имеют никакой ценности, потому что невозможно оценить напряжение, вызванное ограничениями. Пока не начнут набирать добровольцев, все это совершенно бессмысленно, потому что нельзя оценить эффект от принуждения. Ты ведь понимаешь? Может, принуждение и вызывает рак легких.

Я спросил, почему бы не найти добровольцев и вежливо не поинтересоваться, сколько те курят. Измерить у них скорость сердцебиения, и дело с концом.

— Потому что курильщики *врут*, — горько сказал Джулиан. — Курильщики всегда врут, сколько курят, поэтому на результаты нельзя положиться.

Каждый вторник и четверг я делал пробежку от квартиры над закусочной Лилли до Центра. Всего выходило около пяти миль, в гору и через подвесной мост, а потом по прямой до самого Лонг-Эштона.

На городской стороне моста, чуть подальше от дороги, в высокой кирпичной стене виднелись запертые железные ворота. Тогда, девять лет назад, зеленая краска начала облезать, а под ней проступала ржавчина. Я заметил ворота лишь потому, что прутья решетки сплетались в буквы ГС.

Они были заперты, отгораживали посыпанную гравием дорожку и кусты орешника, торчавшие там и сям из высокой травы. Сквозь листву мелькали фрагменты, из которых складывался дом. Ничего примечательного, простые кирпичи без всяких выкрутасов, и, насколько я рассмотрел, он был совсем отдельный, с одной стороны от-

горожен от дороги, с другой выходил на овраг. Маленькие оконца заколочены.

Я смотрел через решетку и мечтал обрести свободу в одиночестве этого неприметного дома и запереть мир за этими воротами.

Люси всегда говорила, что хотя бы раз я должен был пробовать, и тут она была права.

Как-то раз в школе, после пятого урока, мой дружок Джон Рольф включил в спортзале пожарную тревогу, здоровенным мраморным шариком по прозвищу Мурад Жестокий расколотив стеклышко, на котором значилось “разбить в случае пожара”. В это время я как раз смотрел, как мисс Брайант курит “Эмбасси Ригал”. Услышав звонок, она сказала “твою мать”, швырнула сигарету в траву и помчалась устраивать пожарную перекличку.

Я подошел и подобрал сигарету, выкуренную лишь наполовину. Меня поразили равномерность ее горения и забористый взрослый запах. На фильтре красной дугой отпечаталась губная помада мисс Брайант.

Отчасти по собственному желанию, отчасти из-за того, что мисс Брайант сказала “твою мать”, я затянулся, как дядя Грегори. Вкус был чудовищный. Я попытался выпустить дым через нос, как

мисс Брайант, подумав, что в этом вся фишка, но у меня ничего не вышло. Я выдохнул весь дым и продолжал выдыхать, пока не убедился, что все выветрилось. Тогда я сказал “твою мать”, отшвырнул сигарету и помчался на перекличку.

— Симпсон!

— Здесь, мисс.

Во рту у меня еще горчило от дыма. Я был в смятении. Я всегда считал, что взрослые курят оттого, что это приятно, однако это явная ложь. Возможно, в то самое мгновение я и утратил доверие к жизни.

— Послушай, я возьму кота.

Бананас все еще сидел у меня на плече, но, казалось, утратил охоту к кровопусканию. Он почти перестал шевелиться.

— Прости, Грегори, но это орел. Бананасу уготована большая палка.

— Я беру этого трепаного кота, понял? Твоя точка зрения мне ясна.

— Грегори, Грегори. Я понимаю, ты хочешь от всего отгородиться, и не вижу никаких причин навязывать тебе невинного и славного котенка против твоей воли, особенно после того, как выпал орел. Лучше от него избавиться от греха подальше.

— С меня хватит.

Я снял Бананаса с плеча, и он вдруг совсем утихомирился, так что я опять взял его на руки. Тео очень осторожно взглянул на меня. Он подбросил монету и не глядя поймал.

— Я ведь знаю, чем ты занимаешься, — сказал он.

— Что, прости?

Он посмотрел на монету в руке.

— Опять орел. Там, в Центре. Я знаю, что тебя просят делать. Сколько тебе платят?

— Я не желаю это обсуждать.

— Сначала немного, а потом повышают в зависимости от того, сколько продержишься? Я бы поступил так.

— Это конфиденциальная информация.

— Нельзя все от себя отпихивать, Грегори. Для такой расчистки пространства всегда слишком поздно.

— Я хочу не этого, — сказал я, но я лгал. Я хотел иметь много денег, чтобы купить большой одинокий дом по пути к мосту. Хотел запереть ворота и оставить мир за стеной.

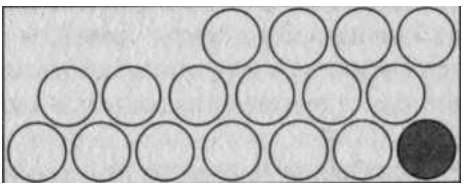
— Не волнуйся, — сказал он. — Можешь взять кота.

— Хорошо, — сказал я, — спасибо. Я беру кота.

Он протянул мне бутылочку с портретом Багза Банни сбоку. Затем, унося на кухню ручку от швабры, прибавил:

— На самом деле это была решка.

День 4



“Кельтик” Тео из Французской Гайаны закончились давным-давно, и теперь он склонялся либо к “Кэмел”, либо к “Бьюкэнен Спешл”. Он всегда переворачивал одну сигарету в пачке вверх ногами и всегда выкуривал ее в последнюю очередь.

Иногда он не уходил на работу до полудня. Иногда уходил утром и возвращался к часу или вовсе не возвращался. Поэтому, выходя из комнаты, я никогда не был уверен, что он не подкарауливает меня в надежде что-нибудь всучить.

Лишь дважды в неделю его поведение было неизменно. В четверг, в семь тридцать вечера, он усаживался, закуривал и смотрел “Завтрашний мир”. А каждую среду около шести вечера набивал две большие хозяйственные сумки бло-

ками по 200 сигарет, не только “Бьюкэнен”, но и прочими известными марками. Я соглашался покормить Гемоглобина, который не был благодарен ни на грош, а Тео вызывал такси.

Он никогда не говорил, куда ездит и чем там занимается, но примерно к одиннадцати всегда возвращался с пустыми сумками.

Это меня не касалось.

— Не понимаю тебя, Грегори. Не понимаю, чего ты хочешь. Моя подруга Ким хочет отправиться в Голливуд и заработать на такой большой лимузин, чтобы в багажник можно было запихнуть мебельный гарнитур. Джулиан хочет найти лекарство от рака. А чего хочешь ты?

— Не знаю, а ты?

— Сейчас-то?

Она закурила вожделенную сигарету.

— Ты даже курить не хочешь. У тебя вообще какие-нибудь желания есть?

Я никогда не мог отделить образ Люси от ее сигарет и манеры курить. Она слизывала дым с уголков губ, словно сахар. Часто выпускала дым одной стороной рта, слегка повернув при этом голову, но глядя мне в глаза. Сжимала фильтр между последними фалангами указательного и среднего пальцев, чуть выгнув кисть назад, будто

вот-вот переведет взгляд на собственные ноги. Беспрестанно постукивала большим пальцем по кончику сигареты, чтобы стряхнуть пепел, едва-едва успевший образоваться. Рефлекторно несла руку ко рту жестом, что подобен внезапной мысли, или осторожному распробованию, или воздушному поцелую.

Она возвела в ранг искусства и курение, и обещание поцелуя.

Я посмотрел на коричневый коврик, затем на ботинки, на колени. Посмотрел на потолок. Увидел паутину. Увидел паука. Сказал Люси, что хотел бы ее поцеловать.

Она наслаждалась сигаретой, все такая же красивая и улыбчивая.

— Никогда не целуй курильщицу, — сказала она. — Это во всех книжках написано.

Уходя, она затянулась и без паузы послала мне дымчатый воздушный поцелуй. Я был в отчаянии, а причиной всему — моя неопытность. Я ничегошеньки не знал. Не знал, вернется ли она когда-нибудь. Даже не знал, как пойти за ней следом.

Уолтер уже думает, что у меня может получиться. Теперь, вместо того чтобы сказать “Все бросаешь?”, он спрашивает, все ли я еще пишу.

Ну ясное дело.

Сегодня утром я спросил его, как и когда он начал курить, но он принялся рассказывать свою историю о расстреле, поэтому я прервал его и задал вопрос, который действительно намеревался задать:

— Ты никогда не боялся умереть?

— Всегда.

— Я имею в виду — от курения.

— Нет. Не забывай Тео и трущобы.

На Уолтере шляпа “Быстрая смерть”, придуманная и сделанная его дочерью и ее антитабачным движением ЛЕГКОЕ в разгаре кампании против нас. Эмблема “не курить” над словами “Быстрая смерть” начинает отшелушиваться. Издалека эту шляпу можно принять за бескозырку на пачке “Плэйерс Нэйви Кат”. На той бескозырке написано “ГЕРОЙ”.

Я спрашиваю, как поживают его дочь Эмми и ее новый спортивный клуб.

— “В путь” называется, — говорит он. — Подумывает заняться дельтапланом.

— Что ж, удачи ей.

— Как самочувствие?

— Отлично, — говорю я.

— Лжец.

Я поинтересовался у Джулиана, бросил бы он курить ради женщины.

— С чего бы это?

Он думал о блондинках, жаждавших попасть в его комнату. Полагаю, ему трудно представить, как он изменяет своим привычкам, чтобы доставить им удовольствие.

— Я имею в виду, если бы ты действительно кого-то любил, а они переспали бы с тобой, только если бы ты бросил, ты бы бросил?

— Ну, это гипотетический вопрос.

— И все же?

— Думаю, это зависит от того, насколько бы я хотел с ними переспать.

— Очень.

— Думаю, прикинулся бы, что бросил.

— Нет, ты любишь их *и* хочешь с ними переспать.

— Так сколько их всего?

— Я имею в виду — с ней. С одной женщиной.

— Конечно. Но если бы мне надо было принести такую жертву ради ее удовольствия, я бы сначала проверил, подходим ли мы друг другу. Может, стоит поискать кого-то, кому все равно, курю я или нет.

— Но если бы ты действительно ее любил?

— Думаю, тогда это был бы способ узнать, действительно ли я ее люблю. Если бы я был готов это сделать.

— Так бросил бы?

— Если бы действительно любил — да.

Вскоре Бананас перерос бутылочку и начал есть консервированное мясо. Каждый раз после еды он приходил ко мне в комнату и усаживался в позе сфинкса, чуть наклонив голову над пепельницей с двойными кастаньетами. Ноздри его подрагивали, а через несколько секунд он начинал очень громко мурлыкать. Желая проверить, может ли у кота выработаться никотиновая зависимость, я иногда прятал пепельницу. Он подозрительно глядел на меня, еще слизывая остатки кошачьего корма с усов. Затем обшаривал каждую поверхность в квартире, хранившую память о пепле. Пытался открыть дверь в комнату Тео. В конце концов, ничего не найдя, прыгал за диван и начинал драть его когтями. Как только я сдавался и возвращал ему пепельницу, он спокойно усаживался рядышком, подобно сфинксу, и безмятежно принюхивался.

Позже у него развилась дурная привычка лизать пепел. Если я забывал где-нибудь пачку “Кармен”, он использовал ее вместо подушки.

Потом он научился забираться в кисет Уолтера.

В остальном же, за исключением двух симметричных проплешин на темени, между ушами, он был совершенно обычным котом.

На Рождество я отправился домой, где мать заявила мне, что я исхудал. Я обнаружил, что мне недостает общества курильщиков и Люси, однако, сообразив, что придется встать на чью-то сторону, когда я познакомлю ее с матерью и Люси впервые потянется за сигаретой, я крепко задумался. Я напомнил отцу о сигаре “Король Эдуард”, которую он выкуривал во время обращения королевы, и он сказал, что все помнит.

В то Рождество мне было одиноко наедине с ним, я все гадал, почему нам нечего друг другу сказать. Думаю, потому, что в основном мы во всем соглашались. Наша близость была такова, что мы имели примерно одинаковое представление о том, чего отец и сын должны ожидать друг от друга. Он давал мне те же деньги, что составили бы, например, мою стипендию, а я никогда не просил больше. Он не брал с меня обязательства продолжить семейное дело, а я и не намеревался этим заниматься.

Когда дядя Грегори вступил в Королевские воздушные силы, отцу пришлось вести дела в

одиночку. Поскольку его положение не было плодом заслуг, он работал как вол, дабы убедить других и самого себя, что он чего-то стоит. В моем детстве были периоды, когда единственное, что я о нем помнил, — это запах крема для обуви, зато ко времени моего поступления в университет к трем магазинам, которые завещал ему отец, он прибавил еще семнадцать. То есть в нашем районе практически каждая большая улица была украшена привычной оранжевой вывеской ~~“Симпсон, торговля табачной продукцией и периодическими изданиями (осн. в 1903 г.)”~~.

Я люблю бегать. Мне нравится одиночество и то, как разные части тела постепенно заключают между собой перемирия, приходя к соглашению, которое называется ритмом. Телу наконец дозволено выражать себя на равных с разумом, вместо того чтобы сидеть сиднем год за годом, а затем вдруг преподнести какой-нибудь подарочек вроде рака, вроде рака Тео.

По пути к Центру я всегда на минутку останавливался у ворот в высокой стене. Буквы Г и С располагались как раз на такой высоте, чтобы к ним можно было прижаться, раскинув руки и напрягая икры, и я пытался сложить дом из кусочков, различимых сквозь деревья. Его бес-

печное одиночество напоминало бег.

Я отталкивался от ворот и устремлялся к мосту. Легкий уклон вызывал одышку, и я уже мечтал о сигарете как о вознаграждении за труды. Я отвлекал себя подсчетами, когда смогу купить дом. В соответствии с системой, по которой мне платили, выходило около шести лет, если он будет стоить не больше ста тысяч фунтов.

Под Новый год стало известно, что проректорша наконец прознала, кто оставил на ее лужайке человеческое сердце и легкое, вырезанные в виде слова “Ку-ку!”. Также проректоршу посетила полиция в связи с обезьяньим инцидентом в виварии.

Впрочем, Джулиан не мог увидеться с проректоршей по причине болезни. Его проведали несколько университетских врачей и Люси Хинтон. Я не видел ее с тех пор, как попросил о поцелуе, но едва слышал перепады ее голоса за стеной, сразу вспоминал, почему я это сделал. Ее голос на мгновение исчезал, затем вновь появлялся в незнакомом регистре. Я слушал и прибирался в комнате, но Люси так и не пришла.

Как-то раз я сам проведал Джулиана. Он спал. Рядом с ним сидела медсестра, она сказала, что ему стало хуже и что мне нельзя оставаться.

Когда я спросил, почему он не в больнице, она сказала, что это не такая болезнь, к тому же он вне опасности. Я вернулся к себе в комнату, думая о том, как же права моя мать. Если курить, как Джулиан, что-нибудь да должно произойти.

Вирус табачной мозаики — на редкость заразное заболевание растений, от него листья табака делаются бесполезными, поскольку он превращает их в мозаику разных оттенков зеленого.

Тео сказал, что, если он найдет способ обезвредить вирус, мир изменится до неузнаваемости.

— Мир нельзя изменить, — сказал я.

— Если ты ученый — можно.

Из-за мозаики табак приходится выращивать в районах с высочайшими стандартами агрикультурной гигиены. И это при том, что в остальном он обладает весьма высокой сопротивляемостью. Когда бы не ВТМ, табак выращивали бы в горшках на подоконнике.

Если крупные табачные компании найдут способ обезвредить вирус, они смогут выращивать табак там, где рабочая сила дешевле всего. Районам, ныне зависящим от табака, придется либо приспосабливаться, либо прогорать, а фермы в районах с дешевой рабочей силой будут процветать. Экономический баланс табачной

промышленности изменится до неузнаваемости.

— Изменив табачную промышленность, изменишь и мир, — сказал Тео, — потому что все мы курим одну травку.

Тео излагал весьма равнодушно. Он ежедневно спокойно размышлял об этом на работе и давно осознал истинность и ответственность данного заявления. Для меня же это была всего лишь наука, а поскольку я ее не совсем понимал, она меня пугала.

Я тут же предположил, что она пришла проведать Джулиана.

— Он там, — сказал я. — Просто не отвечает на стук.

— Я пришла не к *Джулиану*.

Она на мгновение задумалась.

— А откуда ты знаешь, что он там?

— Слышу, как он чиркает зажигалкой.

Люси удовлетворенно кивнула:

— Значит, ты в курсе, что я к нему уже приходила?

Я не ответил. Она желала знать, слышал ли я разговоры за стеной, сами слова.

— Я не прислушивался.

Я так на нее толком и не взглянул. На ней были замшевые спортивные туфли с красно-черным

узором.

— Знаешь, ты *должен* попробовать покурить. Это пойдет тебе на пользу.

— Да не мое это.

— Именно. Ты всегда такой *нервный.* Тебе нужен лишь верный повод и верная ситуация.

Я предложил ей выпить кофе.

— Да, с кофе неплохо, — сказала она. Она прошла мимо и устроилась на пуфике. — И после еды тоже, особенно после завтрака. После занятий спортом — самое оно. В очереди в кино трудно удержаться. До и после интервью или любого выступления.

Я спросил ее, насколько сильно она это любит.

— Но лучше всего — после траха.

Я промахнулся мимо чашки и пролил воду на коврик.

— Или ты и это не пробовал?

Боль в легких отступила. Я в этом уверен. Я вдыхаю, выдыхаю. Я чувствую себя прекрасно.

Впрочем, сердцу стало хуже. Левое плечо дергается от боли, когда я выгибаю руку назад. Может, мышца растянута, а может, ближайшие к сердцу артерии неотвратимо затвердевают от склероза, замедляя кровоток.

Комната заполнена щелканьем Уолтерова до-

мино. Это одно из тех мгновений, что проходят в стороне от нормального течения времени. Я слышу птичье пение на улице. Шум деревьев. Безмолвие оврага. Мы такие, какими были, какими были всегда, и тут я вспоминаю, что это включало в себя “Кармен № 6”, двадцать штук в день, и сглатываю. Прикусываю язык. Завидую трубке Уолтера. Его ста четырем годам жизни. Завидую его удаче.

Когда Тео спрашивал, я рассказывал, как провожу время. Хотя бы это я мог для него сделать.

Я опять стал читать книжки по истории. После Парижа я намеревался вообще ничего не делать, но в дне куча свободного времени. Проходили недели, затем месяцы, а ничегонеделание, за исключением курения, не было, говоря строго, серьезной работой.

Я оправдывал книжки по истории тем, что еще не закончил с ними, умыкнул их из прошлого. Не очередное начинание из тех, за какие я обещал себе никогда не браться. Не нужно знакомиться с новыми людьми или даже выходить из дому, и я всегда тщательно следил за своим чтением на предмет чувства, напоминающего воодушевление.

С такими мыслями я пробивался через “Окс-

фордскую историю Англии", время от времени потешаясь над ключевой, восхитительно забавной мыслью, что связи всегда можно наладить, а причины — найти. Комичная идеализация объясненного совпадения (какая расчетливость!), а в итоге — показное отчаяние историка, который заткнул восемью пальцами восемь разных брешей, а большими — собственную задницу, и с милой улыбкой демонстрирует прохожим, что прошлое изучено, осознано и понято от корки до корки.

Мы ходили на танцы, и она плясала как безумная, словно чего-то наглоталась. Я смотрел, как мои ноги забывались в присутствии ее ног, изумляя остальную часть меня. Мы вместе ездили на велосипедах в центр города. Вместе сидели в столовой, и после каждого блюда она закуривала, а я не знал, куда девать руки.

— На занятиях по английскому мы изучаем любовь, — сказала она как-то. — О ней, под видом стихов, мы размышляем весь день. А затем в классе всегда приходим к одному и тому же выводу. Любовь есть действие, а не слова. Небось, вы там, на историческом факультете, не больно-то думаете о любви.

Лучшие наши разговоры всегда случались в моей комнате, она устраивалась на пуфике, я —

на постели. Думаю, из-за Джулиана. Зная, что она легко может ускользнуть в соседнюю комнату, я прилагал больше усилий, чтобы ее развлечь. Это заставляло меня помнить, как мне повезло.

— Грегори, тебе нравятся стройные женщины?

Она растянулась на пуфике. Поддернула футболку и разглядывала свою талию.

— Да.

— Значит, я тебе нравлюсь?

— Ты же знаешь, что да.

— А я тебе нравлюсь больше оттого, что курю?

— Нет.

Она одернула футболку.

— Я тебе не верю. Если бы я не курила, то не была бы стройной.

Я спросил ее, не боится ли она умереть, а она сказала, что ради бога, ей же всего восемнадцать.

Больше всего мне нравилось разглядывать ее, когда она грустно смотрела на пламя зажигалки, пока та не раскалялась так, что ее становилось невозможно держать. Тогда мне хотелось вдавить Люси в пуфик и заняться с ней любовью, но вместо этого я просто смотрел. Она мне снилась. Я никогда не говорил ей, что на историческом факультете тоже случались любовные истории. Я

имею в виду те, что происходили на самом деле.

Асбестовый завод, где работал дядя Грегори, находился в Аделаиде, в Южной Австралии, и он откладывал жалованье на оплату ежегодного паломничества на мотогонки на острове Мэн. В молодости он работал механиком в команде, состоявшей из его старых приятелей по КВС. Потом, между 1958 и 1963 годами — и еще раз в 1965-м, — и сам участвовал в гонках.

У него было много друзей среди гонщиков. В 1960 году он занял восьмое место в заезде, где участвовало 500 человек, когда свалился со своего “триумфа” на повороте Загогулина. Потом в больнице ему подарили трофей из сваренных вместе старых мотоциклетных педалей. Он сломал обе ноги. Два года спустя он знал по именам жен всех трех гонщиков, погибших в Нырке Дьявола.

Когда гонки заканчивались, он грузил мотоцикл в прицеп и приезжал к нам погостить. Он вечно уламывал маму разрешить ему отвезти меня в школу на “триумфе”, а когда она давала ему ключи от машины, ломал комедию, будто не умеет водить, будто езда на машине — столь скучное дело, что он неминуемо уснет за рулем. Однажды он закурил две сигареты сразу — это он так обещал матери, что не уснет. Она не засмея-

лась, и тогда он засунул сигареты в ноздри.

В ту пору гонки на острове Мэн финансировались компанией “Уиллз Вудбайнз”. На зеленом бензобаке дяди Грегори красовалась надпись “КЭПСТЕН”. Насколько я знаю, он и по сей день остается единственным гонщиком с дефектом зрения, который участвовал в соревнованиях.

Джулиан Карр попал в переплет. Какие-то экологи-марксисты распространили листовку, обвинявшую его в том, что он берет деньги у табачной компании. На него навесили уничтожение лесов, убийство нерожденных детей и экономическую слабость стран третьего мира. И предложили исключить из союза студентов.

Вдобавок проректорша по-прежнему желала увидеть его, и, хотя надобность в медсестре уже отпала, Джулиан цеплялся за предписания врача и редко выходил из комнаты. Когда я пришел показать ему листовку, он выглядел паршиво, взгляд какой-то мутный и рассеянный. Сказал, что чувствует себя хорошо. Скатал листовку в трубочку, поднес к прутьям обогревателя и прикурил от нее. Швырнул бумажку в корзину, где от нее занялся молочный пакет, который мне пришлось тушить. Он сказал:

— Я тебе не рассказывал про обезьян?

Он ткнулся в стену. Положил сигарету на стол и выпрямился. Я подумал было, что он наклюкался, но его дыхание пахло лишь табаком.

— Надо было спалить всю эту чертову шарашку, — сказал он.

Он с трудом сфокусировал взгляд на мне, затем вспомнил про сигарету, взял ее со стола и засунул в рот.

— Как там Люси? — спросил он. Говорил он невнятно. — Успехи есть?

— Ты уверен, что с тобой все в порядке?

— Да.

На мгновение я подумал, что он ревнует. Он прищурился и безуспешно попытался вытащить еще одну сигарету из пачки. Отчаявшись, просто помахал пачкой куда-то в мою сторону. Одна сигарета была перевернута вверх ногами, табаком ко мне.

— Сигаретку? Или все не куришь?

Думаю, он даже не заметил, что я взял одну. Я положил ее карман.

Спокойно, не нервничай, думай о пятнах смолы на снимке легкого у двери. Не думай о двойных кастаньетах, или воздухозаборнике гоночных машин “Формулы-3”, или афишах АНО. Помни, что, когда Тео повесил афишу Папая, от курения

набирающего силу, это была шутка. (Помни о шпинате.) Он не стал обрамлять ялтинский снимок трех величайших мужей столетия, потому что они добились мира благодаря курению. Если бы Уинстон отказался от своих сигар, мира, конечно, все равно бы добились (Рузвельт курил сигареты, Сталин обожал трубку, Гитлер никогда не притрагивался к табаку). Вместо этого смотри на увеличенную акупунктурную диаграмму человеческого уха (рядом с афишей “Вперед, путешественник”), на которой обозначена точка Е, отвечающая за курение.

Я оттягиваю ухо как раз в точке Е — не помогает. Думай о Джулиане Карре и помни истинную причину презрения к своей боли. Помни Гамбург.

Но прежде всего старайся не обращать внимания на недвусмысленный намек, который содержится в словах, начертанных над дверью жирным черным курсивом, на старую и бесполезную мантру Тео:

Ядовитых веществ не существует, есть лишь неверные количества

ПАРАЦЕЛЬС, *“Paragranum”*, Базель, 1536

Я положил украденную у Джулиана сигарету на стол рядом с коробком спичек “Свонз Веста”.

Включил лампу. Уселся за стол и расправил плечи. Не хотелось горбиться в то мгновение, когда навсегда менялась моя жизнь.

Любовь моя была столь сильна, что я решил умереть вместе с ней.

Я внимательно изучил сигарету. Мелко нарезанные листья табака, упакованные в тоненькую бумажную трубочку, присоединенную к искусственному фильтрующему устройству. Вещь, предназначенная для того, чтобы доставить мозгу небольшое наслаждение. Какая нехитрая задумка, какое чистое стремление и какое аккуратное исполнение. Я покатал ее по столу. На бумаге, прямо над фильтром, напечатано “Бьюкэнен”. Недурно придумано. Я снова ее покатал. Хорошо катаются сигареты.

Курить сигарету сейчас, в одиночестве, чтобы потренироваться перед Люси, — трусость. Но я боялся закашляться или почувствовать дурноту, меня даже может стошнить, а это весьма некстати в присутствии Люси, которая в противном случае наконец восхитилась бы тем, что я готов умереть ради нее.

Я сунул сигарету в рот. Меня поразила ее сухость. Я вынул сигарету изо рта, и она прилипла к нижней губе, надорвав кожицу. Я положил си-

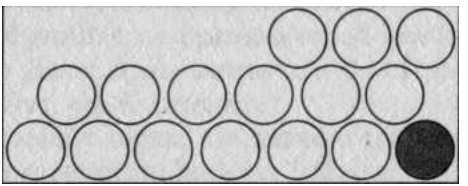
гарету и попытался зажечь спичку в сложенных лодочкой ладонях, как Хамфри Богарт в Париже в фильме “Касабланка”, но не смог. Поэтому я зажег спичку, чиркнув ею к себе, и отлетевшая искорка прожгла дырку в моей рубашке.

Я в последний раз глубоко вдохнул. Облизал губы и снова сунул сигарету в рот. Мне почему-то вспомнилась статья в “Космополитен”, где говорилось, что сигареты — заменитель материнской груди, и я подумал о беременной Люси, а затем о своей матери и бесчисленных обещаниях, которые я дал и которых теперь не вернуть.

Я вынул сигарету изо рта. Посмотрел, как догорает спичка.

Я боялся умереть.

День 5



Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541), также известный как Парацельс. Личный врач Эразма и герой Тео. Известно, что Джон Донн считал его более великим новатором, чем Коперника.

Парацельс верил, что вначале существовала первичная материя, Великая Тайна, которая, видоизменяясь, дает жизнь. Поэтому основа любого зарождения — деление, и на всем, что отделяется от ВТ, лежит определяющий отпечаток. Позже на этой основе выстроили теории микро- и макрокосмов. В частности, Парацельс открыл тогда, что все вокруг нас, сколь угодно малое и по видимости обыкновенное, является микрокосмическим выражением макрокосма, или ВСЕГО.

Он считал, что цель научных исследований — распознать отпечаток, объясняющий связь любого предмета с первичным источником. Для Парацельса это было равнозначно поиску Бога, а приложив эти теории к медицине и человеческому телу, он стал первым в Европе врачом, предположившим, что болезни поражают отдельные органы. Он также открыл, что яд может с успехом использоваться как лекарство, и, по слухам, ускорил свои исследования, часто проводя опыты над самим собой.

Она познакомила меня с титанами курения. Преподала мне его мифологию посредством черно-белого кино, показала мне его богов, злодеев и обряды. Я дивился на Грету Гарбо и Сэма Спэйда и на то, как сигаретный дым подчеркивал серебро серебристого экрана.

Она водила меня на серию довоенных детективных фильмов компании “Житан” в “Артс Синема”, где в туалетах на четырех основных европейских языках висел знак “не курить”, а экран меж тем заполнялся нераскаявшимися образами самых искусных курильщиков двадцатого века. Их и наши жизни становились лучше благодаря табаку, подтверждая вне всяких сомнений, что в трудную пору — будь то любовь или война —

единственным воистину человеческим деянием всегда было курение. Курение было уместным ответом на истерию и скуку. Оно утешало в победе и в поражении. Но самое главное — оно безопасно на все сто. Я не видел, чтобы на экране кто-нибудь умер от рака легких. Никто даже не кашлял, ни у кого не болело горло, за исключением, быть может, Марлен Дитрих.

Люси сказала, что все это может стать моим. Что курение и некурение — всего лишь согласие и несогласие войти в мир кино, где сигареты после занятий любовью выкуривались в огромных постелях самых шикарных гостиниц мира. Людьми вроде нас. Она протягивала мне сигареты, как яблоко. То были любовь и желание. То было знание и все на свете.

Уолтер в прекрасной форме, на нем сине-голубая крокетная кепчонка, высветленная бесчисленными апрельскими дождями. Это его спортивная кепчонка, и он ждет Джонси Пола и старого Бена Брэдли на партию в домино. Денежные суммы перейдут из рук в руки. Не обойдется без ругани.

Итак, Уолтер оживлен и подогревает свою удачу, набивая в каждую трубку табака чуть больше обычного. Я спрашиваю его, пытался ли он когда-

нибудь бросить.

— По собственной воле — никогда.

С трубкой во рту он откидывается в кресле и натягивает темный козырек кепчонки на лоб. Вынимает трубку изо рта и заглядывает в чашечку. Двигает челюстью, собирая бусинки воспоминаний столь разнообразные, что они складываются в любое количество историй.

— У меня был как-то друг, который пытался. Он потерял жену и детей.

— Раздражительность?

— Нет, ничего подобного. Все дело в “МСС”.

— Брось, Уолтер. Готов поспорить, что “МСС” не имело с этим ничего общего.

— То, что мы называли “мужской сексуальной сигаретой”, лучшее курево за неделю.

Уолтер перескакивает с пятого на десятое, но в итоге добирается-таки до сути. Виновата супруга. Желая облегчить мужу отказ от курения, она решила, что им надо отставить постельные утехи, пока тот не перестанет мечтать об “МСС” после их завершения. Страдания мужа постепенно усиливались. Он продержался два месяца, а потом решил заглянуть вечерком к Уолтеру в надежде на моральную поддержку. Уолтер пригласил его в дом, откупорил несколько бутылок пива и нако-

нец, просто из сострадания, предложил старому приятелю “Вудбайн”.

Назавтра жена его друга ушла к матери, забрав с собой детей.

— Она учуяла в его дыхании табак, — говорит Уолтер. — А для жены это означало только одно: ее муж переспал с другой женщиной.

Уолтер захихикал.

— Не опрокинь пепельницу!

Каждую среду он неукоснительно набивал две хозяйственных сумки сигаретными блоками и вызывал такси. Каждую среду он возвращался ночью домой с пустыми сумками. Это все еще меня не касалось.

Судя по всему, у него закончились вещи, которые можно мне всучить, и я его почти не видел. Я забеспокоился, что он меня недолюбливает, и хотел себе в утешение курить сверхурочно, но, разумеется, не смог. Я спросил его, нельзя ли мне присоединиться к нему во время просмотра “Завтрашнего мира”, и он очень вежливо предложил мне лучший конец дивана — тот, на котором меньше собачьей шерсти. Гемоглобин свернулся между нами, а Бананас улегся на Гемоглобина.

В “Завтрашнем мире” показывали новую компьютерную программу для раскрашивания

старых черно-белых фильмов. С экспертами из мира моды и кинокритиками уже советовались по поводу правильного цвета глаз Лорен Бэколл в “Иметь и не иметь”. Старые фильмы можно менять и по-другому. На товарах потребления можно изменять или добавлять названия фирм, что стало одним из способов окупить раскрашивание. Что еще интереснее, сигареты теперь можно начисто стереть из жизни. В качестве примера команда “Завтрашнего мира” убрала сигареты из одной сцены в “Касабланке”.

Вечер. Бар. Играет пианино, на заднем фоне слышен треск столов для рулетки. Хамфри Богарт и Ингрид Бергман сидят за столиком и пьют шампанское. Порой они украдкой обнюхивают пальцы, будто делают вид, что на самом деле занимаются чем-то другим. Никто из них не признает, что откуда-то поблизости доносится странный запах — наверняка поэтому они время от времени так глубоко и вздыхают, сетуя на светскую деликатность положения.

Джулиан Карр пришел ко мне в комнату отрепетировать речь, которую собирался произнести в союзе студентов в свою защиту. Он совсем оправился от болезни и лишь туманно на нее намекал, извиняясь за странное поведение.

В основном он упирал на то, что деньги “Бьюкэнен” предназначались для начала его карьеры, которая в итоге поможет ему найти лекарство от рака. Стало быть, они ничуть не менее, а то и более законны, чем деньги, выделяемые на раковые исследования. Он говорил, что раковым благотворительным обществам нужен рак, а потому они, возможно, заинтересованы в определенной *задержке.* С другой стороны, табачным компаниям гораздо необходимее найти лекарство как можно скорее. На карту поставлены миллионы фунтов, целые районы фермеров, орды продюсеров, команды распространителей, сообщества производителей. От этого полностью зависят торговцы табаком и фабриканты. “Бьюкэнен” финансирует студентов-медиков вроде Джулиана с лучшими намерениями, и он собирается оправдать их веру в него.

— Зло существует, — заключал он, — и его незачем создавать. Стоит мне оставить этот кусок насчет опытов над животными?

Я сходил послушать его на само собрание, он был в ударе. Со слезами на глазах он описывал, как недвусмысленно возражал против опытов над животными. После речи он влез на стул и раздал бесплатные пачки сигарет “Бьюкэнен”. Из

союза его не исключили.

Несколько недель спустя, используя схожую тактику, он пробился в председатели. После некоторой заминки его амбициозная миссия вернулась в свою колею. Сигареты чух-чух. Сигареты чух-чух. Вот несется Джулиан на всех парах.

Пока мы ждали такси, к нам подошел нищий и стрельнул мелочь или сигаретку. Тео сказал “нет”, и тут такси чуть этого нищего не переехало.

Машина была наподобие лондонских — есть куда сунуть ноги, а на полу хватает места для двух хозяйственных сумок, набитых сигаретами. Красно-белые полосатые сумки из нейлона с виниловым покрытием. Я попытался вспомнить неожиданный прилив любопытства, по воле которого я оказался в этом такси с Тео, но не смог. Не понимаю, с чего это я попросился поехать с ним.

На перегородке перед нами красовалась наклейка (сделано в Гонконге): “Пожалуйста, не оскорбляйте водителя просьбой закурить”. Рядом была наклеена картинка с изображением двух грудастых теток, сидящих за столиком в ресторане. Одна грудастая тетка говорит: “Не возражаете, если я закурю?” — а вторая: “Не возражаю, если вы сгорите”.

— Туда мало кто ездит, — сказал таксист.

Он смотрел в зеркало заднего вида и поймал мой взгляд, но я не представлял, как завязать с ним разговор. Я размышлял, как я мог забыть свой принцип — после Парижа это мой главный принцип: бездействие есть честная реакция на жизнь. Только любопытство — глупость. Я надеялся, что с Бананасом все в порядке — я оставил ему полную пепельницу.

Мы ехали вдоль границы трущоб, раньше я никогда не бывал так далеко от моста. Все без исключения пятиэтажки — бежево-серые, каждая пряталась за безобразностью следующей, будто их естественное состояние — маскировка и постоянная готовность сидеть в засаде и воевать. Один-два одиноких дома постарее жались в сторонке от улицы — занавески задернуты, эти дома никто никогда не купит.

Тео попросил водителя остановиться у паба — безымянного, поскольку вывеску разбили. “Тупик незнакомцев” — вполне бы подошло название. Я взглянул на Тео. Он сказал:

— Здесь есть пинбол.

Сигнальный огонек на стоянке нервно помаргивал в облаках нашего дыхания. Я боялся, мне хотелось вернуться в машину и поехать домой,

но Тео посмотрел на меня так, словно читал мои мысли.

— Не какое-нибудь там старье. Самые новомодные модели.

Дядя Грегори осел в Австралии после того, как уволился из КВС. Отчасти из-за солнца, но еще из-за прекрасного обслуживания в Королевской больнице Аделаиды. Его пенсия по инвалидности позволяла ему не работать на асбестовом заводе, но он не любил сидеть без дела. К тому же работа покрывала расходы на поездки в Англию.

Под конец своего пребывания в КВС дядя Грегори летал штурманом на пятиместном бомбардировщике “Канберра”. Его пилотом был полковник Ральф Лейн, в 1957 году он стал третьим пилотом в истории КВС, получившим орден “За особые заслуги” в мирное время. Лейн умер в 1964 году: свалился с лестницы дома, который он построил на холмах за Шепердз-Отелем — городишком близ Монреаля. Несмотря на то что Лейн был слеп почти семь лет, поговаривали, что его падение — самоубийство.

Дядя Грегори отправился на похороны в Шепердз-Отель. Народу было много. В тот год он пропустил мотогонки.

В феврале проректорше наконец удалось залучить Джулиана в свой кабинет. Ей не терпелось поговорить о вандализме и краже собственности, принадлежавшей, собственно говоря, медицинскому факультету. Она имела в виду труп индуса. Имелась еще маленькая проблема с виварием Центра исследований табака Лонг-Эштон, где шестнадцать макак за одну ночь причинили ущерб на восемьдесят пять тысяч фунтов. Джулиану недвусмысленно напомнили об аудио-кабинете с кондиционерами, недавно оборудованном на деньги Королевской сигаретной компании “Бьюкэнен” в подвале университетской библиотеки.

Проректорша в курсе прекрасной академической успеваемости Карра и его недавнего избрания председателем союза, но не может переоценить своего недовольства подобным бессмысленным и ребяческим поведением. Посему ей не остается ничего иного, кроме как списать все на химический дисбаланс в мозгу Карра, вызванный клиническими испытаниями, на которые он подрядился от лица своего факультета.

Успешное, несмотря на кое-какие малоприятные побочные эффекты, завершение Карром лекарственного курса принимается во внимание,

равно как и его внимание к желанию университета сохранять в таких делах конфиденциальность. А посему он прощается с вынесением строгого выговора и предупреждением, что дальнейшие выходки будут наказываться не в пример более сурово.

Сегодня Уолтер так счастлив, что порой дает своей трубке потухнуть. Я смотрю, как он играет и выигрывает в домино у Джонси Пола и старого Бена Брэдли. Похоже, Клуб начинается заново, за исключением того, что я не могу позволить себе совершенно неописуемую радость, даваемую сигаретой, которую можно выкурить, когда захочу.

Джонси Пол выглядит почти ровесником Уолтера, но во время войны он что-то делал с подлодками и потому должен быть моложе. По настоянию врача он курит самые слабые “Эл-энд-Би”, все же отрывая при этом фильтр. Он рассказывает старому Бену Брэдли, что если любой из многочисленных кораблей, завозящих радиоактивные отходы в британские порты, затонет, рак выкосит прибрежное население на долгие годы.

— А еще пугают какими-то там жалкими сигаретками.

— Домино, — говорит Уолтер и сдает костяш-

ки.

Старому Бену Брэдли всего пятьдесят три. Его зовут старым Беном, потому что четырнадцать лет назад его первый сын Бен стал профессиональным игроком и начал играть за Лигу регби в “Халл Кингстон Роверз”. В прошлом году все семейство Брэдли сидело в ложе в Уэмбли и смотрело финал Кубка “Силк Кат Челлендж”. “Роверз” были не в форме и проиграли.

Прямо сейчас я завидую трубке Уолтера. Завидую “Эл-энд-Би” без фильтра Джонси Пола и “Джей-пи-эс” старого Бена Брэдли. Прямо сейчас я завидую всем, везде и во всем, что, конечно, глупо, но именно это я чувствую.

Люси постепенно выматывала меня, мое сопротивление иссякало. Иногда она намеренно меня провоцировала, уходя в соседнюю комнату покурить с Джулианом. Я слышал за стеной их голоса, прерывавшиеся молчанием на время, достаточное для затяжки или быстрого поцелуя. Я спрашивал Люси, о чем они говорят.

— О сигаретах.

— А чем занимаетесь?

— Курим.

Если я упорствовал, она опять уходила в соседнюю комнату. Я нервничал. Тонкими пальцами

она извлекала каждую “Мальборо” из пачки, словно приз, который всегда одинаков и всегда приносит удовлетворение. Она спокойно закуривала каждую сигарету, а я метался между средствами самообороны: горами статистики, присланной моей матерью; мерзким вкусом “Эмбасси Ригал” мисс Брайант; смертью дяди Грегори в 48 лет; платой за материнскую любовь.

Но что толку быть во всеоружии, когда Люси говорила только на дымчатом языке “Привет, малышка”, который легко понять. Она играла роль средневековой принцессы, которую можно завоевать и выиграть, а выкурить сигарету — то же самое, что раньше переплыть озеро, залезть на гору, пристукнуть дракона. Она обрабатывала меня, чтобы я поверил, будто сигареты в одночасье могут изменить все, будто для того, чтобы в итоге оказаться с девушкой и собственным тапером, нужно всего лишь курить, как Хамфри Богарт.

Я уже гадал, не изменились ли сигареты со времен мисс Брайант. Потому что как в противном случае Люси Хинтон, Джулиан Карр и 33 % населения (!), о которых я никогда прежде не думал, научились курить, явно получая от этого удовольствие?

От паба мы двинулись через захламленный пу-

стырь к пятиэтажке посреди трущоб. Тео вручил мне одну хозяйственную сумку, и меня поразила ее легкость. Я все озирался, высматривая разбойников и грабителей, но, видимо, было слишком холодно. На всякий случай я продолжал озираться.

Как ни странно, в пабе оказалось довольно весело. Тео обладал незримой, но убедительной неуязвимостью чуточку странного, необычного человека. С ним я чувствовал себя в безопасности и держался к нему поближе. Мы сыграли в пинбол, и длинные пряди его седых волос дрожали, когда он пытался загнать свой шарик в нужные коридоры, почти всегда успешно. Он обыграл меня на двести девятнадцать миллионов очков.

В доме мы поднялись в обшарпанном лифте на четвертый этаж. Там тянулся коридор: пронумерованные двери и матовые окна между ними. Перед самой дальней дверью стояла очередь из трех-четырех женщин, и мы с Тео подошли к ним. Тео сказал мне вполголоса: “Называй меня доктором Барклаем”.

Он поздоровался со всеми женщинами и представил меня как своего нового помощника. Никто не обратил особого внимания. Затем он достал ключ из кармана пальто, открыл дверь под номе-

ром сорок семь и пригласил всех внутрь.

Я так и не понял, зачем Джулиан это сделал. Вряд ли он нуждался в деньгах.

Он серьезно посмотрел на меня, чуть выпятив квадратную челюсть.

— Это дело принципа. В противном случае лекарства испытывали бы на животных, а это совершенно бессмысленно.

— Опять из-за принуждения?

— Нет. Из-за того, что кролики не покупают мужские противозачаточные пилюли. Если хочешь поучаствовать в испытаниях, я это устрою.

— Нет уж, спасибо, Джулиан.

— За десятинедельный курс заработаешь до полутора тысяч фунтов.

— Нет, Джулиан, не стоит.

— Я знаю, ты на мели. С полутора тысячами фунтов ты мог бы съездить куда-нибудь вместе с Люси на каникулы. Свозил бы ее на Карибы.

— Мы никуда не едем вместе на каникулы. К тому же мы всего лишь хорошие друзья.

— А семейная история безумия? В семье были случаи рака?

— Джулиан, я не собираюсь этим заниматься. Посмотри, что стало с тобой.

— Аллергии нет? Никаких проблем с выпивкой.

Солиден и надежен. Идеальный кандидат. Послушай, если тебе вдруг понадобятся деньги, просто подумай о животных, которых ты спасешь.

Я всегда мог определить, какое из писем матери для нее важнее, по количеству восклицательных знаков, причем каждый прямо-таки кричал со страницы. В одном письме я насчитал их тридцать семь штук, плюс четыре статьи о курении, что тоже рекорд.

Плохие новости заключались в том, что 15–20 % всех смертей в Англии оказались связаны с курением.

Недавно открыли новую опасность — ампутацию конечностей, вызванную сосудистыми заболеваниями.

Упоминались болезнь Бюргера, хронически повышенное слюноотделение и закупорка легких. Бензопирен. Невидимый холокост ежегодно уносил жизни ста тысяч человек. По крайней мере, можно утверждать, что дети, регулярно посещающие церковные службы, меньше предрасположены к курению. Так говорилось в одной из статей.

Хороших новостей не было. Только витамин А, содержащийся в моркови, вносил крошечное разнообразие в попытки одолеть рак легких.

Я, конечно, сразу понял, что это письмо и вырезки — особый всплеск любви. Мать давала мне знать, насколько она меня любит. Лишь в самом конце третьей и последней страницы она мимоходом упоминала предположительно секретную информацию о том, что моею отца (Торговца табачной продукцией мистера Симпсона! Нашли кого!) за услуги, оказанные обществу, предварительно номинировали на Орден Британской Империи.

Сегодня утром, на пятый день без сигарет, впервые с похорон Тео позвонил доктор Джулиан Карр. Он прекрасно понимал: я знаю, что это он. В тишине я слышал, как он затягивается.

Он дал мне послушать, как он курит. Мне было нечего ему сказать, но трубку я не положил. Наконец он очень тихо прошептал:

— Ну что, чувствуем себя малость не того?

Тогда я положил трубку.

В каком-то смысле фильмы правы. Если бы я выкурил сигарету и занялся любовью с Люси, то к утру не свалился бы замертво. Но мечтателям трудно свести мир к календарным сегодня и завтра, и я боялся свалиться посреди церемонии награждения в далеком будущем.

К тому же, возможно, Люси играет со мной. Возможно, использует меня в качестве первой ступени плана по соблазнению Джулиана. Возможно, уже переспала с ним. Возможно, до сих пор с ним спит. Возможно, когда она уходит в соседнюю комнату, они вовсе не разговаривают, а падают друг другу в объятия и с безумной страстью занимаются любовью, а звуки, доносившиеся через стену, лишь *звучат* как беседа. Ее беседы со мной могли быть уловкой, наподобие ее беременности. Откуда мне знать, что, стоит мне довериться ей, лишь один раз вдохнув не воздух, она не поднимет меня на смех, — возможно, еще до того, как дым успеет осесть в моих легких?

Тот раз, когда она прикинулась беременной: было поздно, я напился, но она меня провела. Из-за нее я почувствовал себя легковерным, неопытным и глупым. Я не хотел, чтобы это повторилось, но и курить я тоже не хотел. Я спросил ее, знает ли она, что делает со своим здоровьем.

— Знаю, знаю. Я умру в тридцать, и мои дети тоже. Я убиваю прохожих на улицах и совершенно незнакомых людей в ресторанах. Я несу личную ответственность за убийство детей в городских парках. Хуже-то уже не будет, так ведь?

Помещение оказалось квартирой из двух ком-

нат одна за другой, затем шла кухня, а за ней — ванная. Все комнаты располагались по одной линии, как вагоны поезда. В первой комнате вдоль стен стояли кресла, а на низком столике лежали журналы: приемная. Сама клиника находилась во второй комнате. Я сварил кофе и включил газовый камин. Затем уселся позади Тео и наблюдал.

Люди входили по одному и задерживались на пять-десять минут. Тео сидел за столом посреди комнаты, его “пациент” — напротив через стол, что напомнило мне посещения в тюрьме, виденные по телевизору. Все входившие называли его доктором Барклаем, и за три часа, что мы там провели, каждый визит строился по одной и той же схеме. Человек входил, садился, объяснял Тео, почему начал курить и почему продолжает, а в конце Тео выдавал им сигареты. Все формально, никаких благодарностей.

К концу приема у нас остался единственный блок с 200 “Кенситас”. Я вызвал такси: оно останавливалось только у паба, и, пока мы возвращались через пустырь, Тео сказал:

— Лучше держи рот на замке.

— Хорошо, Тео.

— Не слишком-то красиво это выглядит. Табач-

ные люди раздают сигареты.

— Да, я понимаю.

— Ранние работы Фрейда были о рыбе. Он специализировался на рыбьих носах.

— Не знал.

— Никто больше не любит Фрейда.

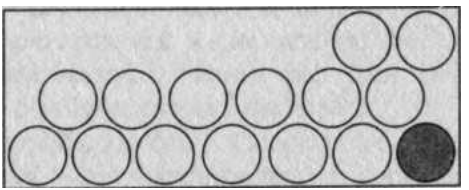
— Точно.

— Но в одном он прав. У каждого есть история.

— Да, — сказал я. — Это я тоже понимаю.

У закусочной Лилли нищий все просил милостыню. Тео отдал ему блок “Кенситас”.

День 6



Время, память; обычные трудности.

Я помню ее косточки. В моих снах у нее вообще не было косточек, и я не ожидал, что ее талия и ягодицы окажутся такими твердыми. Не ожидал, что она будет столько *двигаться.*

Но это было потом. Сперва мне пришлось смириться — это было неизбежно, когда каждое утро я просыпался, и у меня тоскливо сосало под ложечкой. Как будто все сны, которых я не помнил, втихомолку заканчивались плохо, и только Люси могла изменить этот финал. Но тогда Люси означала выкуривание сигареты.

Слишком уж часто она вставала, откидывала волосы и грозилась уйти в соседнюю комнату.

— Почему?

— Джулиан может спокойно смотреть, как я курю.

— Подожди.

— Что тебе еще?

— Приходи на обед.

— Куда?

— Сюда. В понедельник, нет, во вторник.

— Грегори, мое терпение вот-вот лопнет. Скоро я просто брошу.

— Хорошие новости.

— Ты понимаешь, что я имею в виду. Брошу тебя. Я перепробовала все и даже не верю, что нравлюсь тебе.

— Ты знаешь, что нравишься.

— Так докажи.

— Если согласишься на обед — докажу.

— И сделаешь что?

— Ты знаешь что. Обещаю. Это будет особенный день.

Она закурила и улыбнулась.

— Пожалуйста, Люси.

— Мне приодеться? Мы ведь оба понимаем, что это значит.

Чем чаще я ездил в трущобы, тем сильнее менялось мое мнение о Тео. Его подход был систематичен и точен — полная противоположность

его волосам. Я пришел к выводу: он не до конца уверен, что поступает правильно.

Он никогда не выдавал сигареты автоматически. Как-то раз к нам пришел тощий юноша в гэдээровской военной куртке и со светлыми дредами. На конкурсе плохих зубов он немногим уступил бы Тео. Он не стал садиться, его голова подергивалась, вспоминая годы, проведенные в наушниках плеера. А может, он просто обдолбался.

— Вы тут, говорят, сигареты раздаете?

Тео сказал, что он врач.

— Типа как угнетенным.

— Я управляю консультационной клиникой.

— А последней тетке отвалили 200 “Раффлз”. Сам видел.

— Расскажите, как вы начали курить.

— Да путешествую я. Не откажусь от пачки-другой.

— Вы любите путешествовать?

— Ну да. А что, больше вы мне ничего не скажете?

— Извините.

— Пару сотенок было бы в самый раз.

— Вообще-то обычно я довольно терпелив. Извини.

В другой раз один парнишка заявил нам, что мать послала его принести пачку “Эмбасси Лигалз”. Судя по физиономии, парнишка налегал на яблоки и молоко. У него были веснушки и твердый нахальный взгляд, который у взрослых превращается в непроходимую тупость. Тео попросил его сесть и развернул снимок больного легкого. Когда до парнишки дошло, что это такое, глаза его округлились, он вскочил и отпрянул к двери. Он не сводил глаз со снимка. Он сказал:

— Я вам не верю.

— Верь.

— Да это просто жвачка.

Затем он кинулся через приемную, оставив дверь нараспашку, так что мы слышали топот его кроссовок в коридоре.

— Вот она, нынешняя молодежь, — покачал головой Тео.

Она разделась. Раздевшись, устроилась на пуфике. Я помню ее косточки.

Наступил вторник. Я вытащил стол на середину комнаты и застелил его запасным синим покрывалом. Купил пару красных свечей и воткнул их в комья мастики для лепки. Сходил в соседнюю комнату одолжить у Джулиана кресло на колесиках. Я сильно нервничал.

— Для соблазнения нужна горячая пища, — сказал Джулиан.

Он думал, что все знает лучше всех. Я собирался подать Люси три блюда, все холодные, чтобы, пока она со мной, мне ни разу не пришлось выходить из комнаты. Еще Джулиан заявил, что я выбрал вино не того цвета.

— Мог бы сводить ее в индийский ресторан, — сказал он.

Люси как-то сказала, что мне не стоит беспокоиться из-за Джулиана, потому что она ему не нравится. Но любой может передумать, и не исключено, считал я, что он ревнует и скрывать это ему все труднее, — еще одна тревога к тому грузу, что давил у меня в груди, и я все медлил у двери Джулиана, сжимая в руках кресло. Я спросил его, нравлюсь ли я Люси. Ну то есть — на самом деле.

— Разумеется, нравишься.

— Откуда ты знаешь?

— Она мне сама сказала.

— Неужели?

— Сказала, ты нравишься ей за правильность.

— Правильность?

— За нормальность.

— Я не нормальный.

— Ты почти не пьешь. Не куришь.

— Прямо так и сказала?
— С чего бы мне врать?
— Ты говорил, все курильщики врут.
— Я врал.

Ковбой из рекламы “Мальборо” никогда не вел подобных разговоров. Он был нетороплив, невозмутим, несовременен. Именно таким я стану завтра, думал я.

За несколько месяцев до своей смерти Тео подарил растение Эмми Гастон, дочери Уолтера. Сегодня Уолтер принес растение обратно, на вид оно не слишком здорово. Около метра в высоту, но широкие листья, кажется, оплакивают самих себя, распуская нюни пред лицом смерти. Цветов на нем нет. Тео сказал Эмми, что появятся белые цветы.

— Она хочет, чтобы ты его спас, — говорит Уолтер. — Думает, что Тео сообщил тебе секрет. И еще она что-то передавала тебе, только вот я забыл что. По-моему, хотела, чтобы ты с кем-то встретился.

Я говорю ему, чтобы он не беспокоился, он и не беспокоится. Он устраивается в кресле и принимается попыхивать трубкой, листая статью в “Нэшнл джиографик” о товарной культуре в Тихоокеанском бассейне. На нем плоская твидовая

кепка с мухой-красноперкой, пришпиленной к ткани, которая обтягивает козырек.

Я чуть сдвигаю растение влево, чтобы лучше видеть Уолтера. Он поднимает глаза и спрашивает, чего мне надо. Неловко, что он заметил мой взгляд; я ничего не говорю, склоняю голову над столом, пишу это предложение и буду писать его, пока он как ни в чем не бывало не вернется к журналу, и вот он опять читает журнал, так что я, пожалуй, могу остановиться.

Она была весьма великодушна, она не позволила мне мяться. Свернулась на пуфике, обхватила меня руками, притянула к себе.

Столкнувшись с перспективой близости этим вечером, я почувствовал себя одиноким. Я никому не мог объяснить, как много для меня значила Люси. По очевидным причинам я не мог позвонить домой и то ли заранее чувствовал себя виноватым, то ли мать уже что-то подозревала. Во время последнего звонка я спросил ее насчет рака дяди Грегори.

— Ты уверена, что это от курения?

— Конечно.

— Я имею в виду, ты совершенно уверена, что так оно и было на самом деле?

— Грегори, твой дядя Грегори всю свою зрелую

жизнь выкуривал по шестьдесят крепких сигарет в день. От чего еще, по-твоему, он умер? Ты ведь не собираешься закурить, а?

— Конечно, нет.

— Обещаешь?

Джулиан тоже не понимал. Он начинал острить и пошлить, когда я пытался вызвать у него участие, словно Люси была одной из блондинок. Он говорил, что самое главное — сохранять спокойствие и не нервничать. Я спросил его, не собирается ли он куда-нибудь вечером, он сказал, что не знает. Я был в ужасе, я пресмыкался перед своим желанием.

Я зажег спичками свечи. Выключил свет. В попытках занять руки откупорил бутылку вина. Джулиан сказал, что оно должно подышать. Надел галстук. Я был мальчишка, принарядился и изображал из себя взрослого в одной из самых маленьких комнатушек мужского общежития корпуса имени Уильяма Кэбота, и тут я вдруг понял, что ничто и близко не стояло рядом с тем несравненным успехом, который я навоображал себе на этот вечер. Я чувствовал себя неуместным, глупым, никчемным.

Впрочем, уже слишком поздно. Она не придет. Найдет себе занятие поинтереснее, чем обедать

со мной сегодня вечером, — например, посмотрит телевизор. Я послюнил пальцы, чтобы затушить свечи, но затем решил, что их безопаснее задуть, когда в дверь трижды — тук-тук-тук — тихонько постучали.

Клуб для курильщиков — не новость. В конце девятнадцатого века в Лондоне процветало множество клубов для курильщиков. Они назывались диванами, и самыми известными были “Уайтс” на Девоншир-стрит и “Слиппер-клаб” на Стрэнде. “Диван” — слово персидского происхождения. Оно пробралось в английский язык, сменив множество значений: сборник стихов, здание суда, комната, открытой стороной выходящая в сад, длинное сиденье, — но в какой-то момент стало означать клуб для курильщиков. Выходит, слово “диван” — отличный пример того, как что-то одно — в данном случае слово — может означать целую кучу вещей, выйдя далеко за собственные рамки.

Диваны конца девятнадцатого века давали джентльменам возможность спокойно покурить (см. Дизраэли, “Эндимион”, XX, 1880). Еще там можно было укрыться от женщин, которых туда ни в коем случае не принимали. Конечно, сейчас, в конце другого века, все иначе. В курении царит

демократия, оно запечатлено в фотографическом прошлом каждого человека. Оно стало признаком общности человечества, ниточкой между маори и мау-мау. Оно было легальной зависимостью века, всемирным признанием того, что просто дышать — недостаточно.

Но сейчас, как я уже говорил, все иначе. Оказалось, что удовольствие убивает, как это всегда предрекали самые суровые теологи. Век назад оно казалось столь восхитительным, столь невинным, столь хитроумно расфасованным и столь явственно безвредным, что задним числом почти убеждало, что оно, как и опасались адвентисты седьмого дня, — самое совершенное адское изобретение.

— Когда я только просыпаюсь и чувствую подавленность. Когда устану до смерти или когда дети совсем отобьются от рук. Когда прихожу в ярость и готова их удавить. Ну, вы понимаете.

— Держите. Закуривайте когда захотите. Не превышайте рекомендованной дозы.

В основном в клинику Тео приходили женщины, часто с маленькими детьми. Всю жизнь они жертвовали собственными желаниями ради других, и курение было единственной систематической поблажкой, которую они могли назвать

исключительно своей. Хоть и слабое, а все же утешение.

— Мне как-то одиноко было, когда не можешь просто сидеть и читать и думаешь, чем бы заняться вместо того, чтоб плевать в потолок. Не знаю, чего меня дернуло. *Я* просто вышла на улицу, купила пачку и выкурила сигарету.

— Держите. Закуривайте когда захотите. Не превышайте рекомендованной дозы.

Большинству из них неведом слепой оптимизм, который нужен, дабы отказаться от настолько действенного утешения — сигареты. Одна женщина сказала, что поискать спички — уже причина подниматься по утрам.

— Иногда я выставляю ребенка из квартиры, запираю дверь, врубаю радио на всю катушку, усаживаюсь, курю, успокаиваюсь, впускаю его обратно и пою чаем. Думаю, это все в голове, вроде как успокаивает, просто в голове.

— Держите.

Ее волосы разметались по черному пуфику. Глаза блаженно закрывались и открывались, открывались и закрывались. Ее плечи.

— Морковки без глазури. Они там сообразительные.

Все шло чудесно. Люси нарядилась цыганкой:

в ушах огромные креольские кольца, а черные волосы стянуты сзади узлом. Макияж заострял ее черты, как на портретном снимке, на ней была какая-то накидка сверху и длинная красная юбка с золотой вышивкой. Свечи мерцали в глубине ее глаз, я подметил это и надеялся, что они мерцают и в моих. Она много смеялась, и я подумал, что она счастлива. Ее зубы сверкали. Она дотронулась до моей руки, когда захотела, чтобы я *представил*, как ее сестра в гидрокостюме пытается прокатиться на водных лыжах. Ее восторгало все, что когда-либо происходило. Черт, она была невероятна.

После закуски (салат из тертой моркови) она прикурила две сигареты сразу. Я отпил вина и посмотрел на ее руки. Она предложила мне одну сигарету.

— Это волшебная сигарета, — сказала она.

Она наклонилась ко мне:

— Она заколдована. Тот, кто ее выкурит, влюбится в первого же человека, которого увидит.

Я взял сигарету из ее руки.

— И они будут жить долго и счастливо?

— Да.

Я отдал ей сигарету.

— Тогда почему ты не выкуришь ее сама?

— Выкурю, только пусть сначала в меня кто-нибудь влюбится.

Я посмотрел, как горит волшебная сигарета. Осторожно положил ее в пепельницу, так что фильтр примостился в выемке, предназначенной как раз для таких крайних случаев. Уронил двадцатипенсовую монетку на раскаленный уголек и посмотрел, как тает и исчезает дым. В точности как Люси меня учила.

— Это неизбежно, — сказал я. — Но мы даже не дошли до основного блюда.

— О, до основного блюда еще далеко.

Я подлил вина, а она похвалила меня за то, что я положил ломтики авокадо под нужным углом к копченому цыпленку.

Между 1945 и 1980 годами в атмосфере провели 423 ядерных испытания, данные о которых предоставили общественности. Предположительно сведения как минимум о стольких же испытаниях никогда не обнародовали. Радиоактивный осадок после таких взрывов выпадает преимущественно в виде углерода-14 и плутония-329. Углерод-14 распадается на двуокись углерода, поглощается растениями, а затем перерабатывается в органику, которая поступает в пищевую цепь. Его период полураспада — 5730 лет. Период

полураспада плутония-329 — 24 400 лет. Предполагается, что за такой срок эти изотопы вызовут 2,4 миллиона смертей от рака, 670 000 из них — до конца этого века.

В июле 1962 года на высоте 400 километров над атоллом Джонстон США взорвали в космосе бомбу мощностью в 1,4 мегатонны. В результате этого взрыва в стратосферу были выброшены окислы азота, ускоряющие разрушение озонового слоя. Разрушение озонового слоя — главнейший фактор, объясняющий увеличение количества случаев кожных онкологических заболеваний в Южном полушарии.

С точки зрения статистики, количество случаев рака, вызванных известными канцерогенами вроде асбеста или полициклических углеводородов в отработанном машинном масле по сравнению с последствиями ядерных испытаний пренебрежимо мало. Также между 1945 и 1980 годами провели 1400 ядерных испытаний под землей, последствия которых еще предстоит оценить.

Трущобы подтвердили большинство выводов, сделанных мною в Париже. Лучше иметь деньги, чем не иметь. Ни во что не ввязывайся, потому что всегда случится худшее. А если худшего не

случится, тебя всегда может переехать автобус.

После смены маршрутов ни в трущобы, ни из трущоб автобусы не ходили. До сих пор случались стычки, разбитые бутылки, а порой даже зажигательные бомбы. Но куда хуже автобусов давящая тоска бесконечной череды дней, рыдающих детей и еще ста девяносто девяти человек, находящихся в том же положении, что ты сам, и все после работы, где работаешь только потому, что другой не подвернулось. Закурите. Успокойтесь.

Как-то Тео послал меня в трущобы одного. Он подхватил простуду.

— Если ты болен, вызови врача.

— Я не болен. Никогда в жизни не болел.

Я отправился на такси в квартиру № 47 и раздал там знакомые советы и блоки по 200 сигарет. Я вел себя как врач и не выпускал из головы великую милость, которую дарует тоненькая белая трубочка: что это значит — хотеть чего-то и иметь возможность это получить. Это в некоторой степени доказывало, что желание — источник не одной лишь боли. Этому научил меня Тео.

Пришла новая девушка, которую я раньше не видел. Очень усталая, жидкие темные волосы падали на лицо. Она была моложе меня и несла младенца, укутанного в свитер с клиновидным

вырезом. При разговоре смотрела мне через плечо.

— Вообще-то я собиралась жить с ее отцом, но он бросил меня, когда ей был всего день от роду.

— Держите, — сказал я, — берите сколько угодно. Не превышайте рекомендованной дозы.

Она впервые посмотрела мне в глаза.

— А ведь я даже не курю, — сказала она.

Мы как будто делали именно то, что она хотела. Я помню ее косточки, а все остальное в основном придумываю, потому что никак не могу припомнить как следует. Ее волосы, плечи, косточки. Думаю, ее ноги. Думаю, все закончилось очень быстро и не заканчивалось никогда. Было слишком рано и слишком поздно, она была несчастна и никогда не была счастливее.

После десерта — купленного в “Кооперативе” крем-брюле — она вышла из-за стола и с сытым и довольным видом завалилась на пуфик. Она прихватила с собой пепельницу и вытащила из нее волшебную сигарету. Там, куда упал двадцатипенсовик, осталась вмятинка. Пришла пора влюбиться в первого же человека, которого я увижу, и жить с ним долго и счастливо. Я сказал:

— Ты как-то сказала, что нужна верная ситуация.

— Да, — сказала она, — но уже поздновато искать очередь в кино. Сейчас так сейчас.

— Нет, ты еще о другом говорила.

— Спорт?

— Люси.

— Сперва сигарета, дорогуша.

— Ты говорила после. Ты говорила, что лучше после.

Я опустился рядом с пуфиком на колени и поцеловал ее. Книжки оказались правы. На вкус как пепельница.

Дядя Грегори попал в больницу в Аделаиде после первых английских атомных испытаний в Маралинге, что в Южной Австралии. Он был штурманом бомбардировщика “Канберра”, в его задачу входило сделать разведывательные снимки атомного облака. 27 сентября 1956 года экипаж “Канберры” снабдили специальными защитными очками — обыкновенными очками с затемненными стеклами.

После взрыва бомбы “Канберра”, как и планировалось, находилась на высоте пять тысяч футов в одной миле от места взрыва. Дядя Грегори, ответственный за фотооборудование, и пилот, полковник Ральф Лейн, ослепли мгновенно. Впоследствии Лейна наградили орденом ЗОС за

то, что он дотянул “Канберру” до ракетной базы Вумера, следуя лишь указаниям, которые передавались по радио с контрольной вышки.

Через три недели в Королевской больнице Аделаиды к дяде Грегори частично вернулось зрение — в основном благодаря мастерству австралийских врачей. Полковник Лейн так и не прозрел. Обоих с почетом отправили из КВС на пенсию по инвалидности с вручением копии акта о неразглашении военной тайны.

Всю оставшуюся жизнь дядя Грегори беспрестанно помаргивал, будто не верил ни единому слову. Будто изо дня в день не верил собственным глазам.

Мне не хватает Бананаса как витаминов. Мне чертовски его не хватает. Есть еще Гемоглобин, но какой толк от пса? Когда Уолтер закуривает трубку, Гемоглобин плетется к нему, пуская слюни. “Хорошая собачка, — говорит Уолтер и треплет его по голове, — хорошая собачка Павлова”.

Пристрастие Бананаса к никотину постепенно усиливалось. Я гордился этим, будто он носил мне тапочки или скакал через обруч. Я не наполнял пепельницу почти шесть дней — сейчас бы он наверняка от меня ушел.

Я полил растение. Перед уходом Уолтер неко-

торое время объяснял мне, насколько лучше была жизнь во времена его молодости, когда не существовало никакой статистики. Он только что вычитал в “Нэшнл джиогрэфик”, что в этом веке умерло больше людей, чем в двух мировых войнах, а это доказывает: мир — страшная и опасная штука.

В “Нэшнл джиогрэфик” такого не говорилось. Это сказал Уолтер.

— Я не курю, — сказала она, — и никогда не курила, так что можете не трудиться задавать вопросы. Не буду ходить вокруг да около. Вы настоящий врач?

Она сильно отличалась от прочих женщин, обычно приходивших в клинику Тео, — хотя бы необычным макияжем. У нее были примечательные ноги, как у черной вороны, и темные морщинки в уголках рта. Волосы стянуты в тугой пучок, выбеленный тальком, но взгляд серых глаз ярок и дерзок.

— Я настоящий врач, — сказал Тео.

— А он?

— Он мой помощник.

Она пристально оглядела нас.

— Вы когда-нибудь давали сигареты старику?

— Я никогда не давал никаких сигарет никако-

му старику, — сказал Тео.

— Буду краткой. Я живу со своим отцом, который постепенно дряхлеет. Вопреки моим возражениям, он продолжает курить, невзирая на вред, который наносит этим своему здоровью. Лично я, как и большинство образованных людей, считаю курение нелогичной, бессмысленной и глупой привычкой. Но до меня дошли слухи, что вы со своим помощником бесплатно раздаете сигареты местным жителям, в особенности живущим в этом районе. Не знаю, зачем вы это делаете, и не испытываю к вам никакой симпатии. Буду откровенна. Мой отец — единственный, кто у меня остался, и я против того, чтобы он убивал себя.

— Простите, — сказал Тео. — Я никого не хотел обидеть.

— Пока что я не обижена. Но если я узнаю, что вы даете сигареты моему отцу, то сама положу этому конец.

Она насмешливо посмотрела на Тео, на меня, а затем на разные плакаты, которые Тео приколол к стенам.

— Отнеситесь серьезно к этому предостережению, — сказала она. — У меня много друзей. Я понятно выражаюсь?

— Да, — сказал Тео, — простите.
— Не стоит.

Мы занялись любовью на черном вельветовом пуфике с треугольной этикеткой “НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ”. Я помню ее косточки. Тени от свечей. В какой-то момент — в настоящей жизни — все закончилось. Без шуток. В последнее мгновение она не превратилась в хихикающую ведьму, что смеется над моим намерением соблазнить ее. Она меня не провела. Под одеждой на ней не было маски.

Она улыбнулась, как будто мы сделали именно то, что она хотела. Пуфик зашуршал, когда она опять на него повалилась. Ее лицо и шея разрумянились. Она сдула прядь волос со щеки. Оперлась на локти, и мне пришлось приподняться на руках. Потянулась за волшебной сигаретой, посмотрела мне в лицо.

— Давай выкурим ее вместе, — сказала она. — Давай выкурим ее вдвоем. Я покажу тебе, как это делается.

Я помню, как нежно она это сказала. Чудесно такое услышать. Она закурила и глубоко затянулась, тут же влюбившись. И я помню, что сделал потом. Медленно отстранился. Посмотрел на сигарету. Вытер лоб. Предложил выпить кофе.

— Просто вставляешь между губами и вдыхаешь. Тебе понравится.

Я сказал, что еще у меня есть чай.

— Сперва не слишком глубоко.

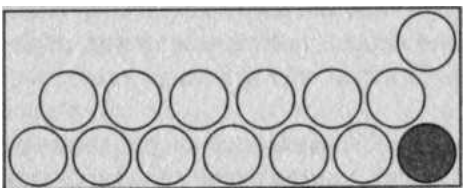
“Инглиш брекфаст”.

— Ну же, Грегори, не будь кретином. Возьми сигарету.

“Лапсанг сучонг”. “Эрл Грей”. Я отвернулся от нее и принялся возиться с чашками и пакетиками с разными чаями. Один пакетик лопнул, обдав мне руку чайной пылью. “Дарджилинг”. Я знал, что она не хочет чаю.

— Ты полный кретин.

День 7



Даже погоде я ненавистен. Ветер бушует, а дождь лупит в окна. Случается и град. Не исключен ураган. Тайфун, приливная волна, наводнение, потоп, светопреставление или еще что похуже. Наверняка хуже.

Ума не приложу, куда подевался Уолтер. Утро уже в разгаре, прошла почти неделя, как я бросил курить, а я сижу в пустом доме совершенно один. Одиночество скрашивает лишь пес. Гемоглобин продолжает выписывать восьмерки: одна петля охватывает кресло Уолтера, другая — ковер. Ему не хватает утренней трубки, и я подумываю вышвырнуть его под дождь, потому что мне тоже не хватает табака, а от этого пса мне никакого проку.

Успокойся. Пиши какие-нибудь слова. *Заменяй.*

Уолтер, как и мой старый черный пуфик, похож на “Кармен № 6”. Тео похож на сигареты, и Люси, и Бананас, и все пепельницы, которые Бананас припрятал бы. Их всех нет, они ушли. Меня бросили опустошенного, покинутого, невинного, и мне чертовски жаль себя нынешнего, а мое колено выбивает под столешницей дробь, наивно пытаясь продержаться без ежечасного удовольствия.

Сведи желание к его основе: Я не хочу курить. Не хочу курить. Хочу курить. Курить.

Он никогда не боялся непогоды. Наматывая круги, Гемоглобин заскулил, и я подумываю, не выкурить ли мне сигарету из жалости к животине. Мне хочется, чтобы здесь был Уолтер. Всего одну. Обещаю, если бы Уолтер был здесь, я бы выслушал даже его историю о расстреле.

Всем по нраву доброта к животным.

Впервые, хоть и пассивно, Тео затянулся в тот день, когда появился на свет, и считал, что из-за этого ему и нравится утренний запах табака на одежде. Запах напоминал Тео о матери. Сам Тео ни разу не курил до двадцати шести.

По материнской линии его предками в основном были несгибаемые шотландцы-кальвини-

сты, которые нисколько не сомневались, что им уготовано местечко в раю. То было семейство проповедников, миссионеров и мучеников, коим сомненья чужды, и мать Тео — не исключение. Она выкуривала по сорок “Блэк Кэт” в день и при этом порой изрядно закладывала за воротник. Часто она переходила дорогу, не посмотрев ни налево, ни направо.

Отец Тео сбежал, когда тот был еще ребенком. Жалуясь на прокуренные занавески и пепел в масленке, он сел на паровоз до Эдинбурга, и, по последним слухам, жил в Морнингсайде с крупье-атеисткой.

Возможно, эта подробность — шутка. Тео часто шутил по поводу матери. Он рассказывал ее жизнь как историю и умалчивал о ее поступках и настроениях в тихие периоды, когда с ней ничего не происходило. Насколько я знаю, им вечно не сиделось на месте, неразлучным и неторопливым, с ветром в голове.

Она назвала меня кретином еще несколько раз и отказалась взглянуть на меня, пока одевалась. Она отвернулась. Пуфик оставил на ее спине и ягодицах отпечаток узких полосочек вельвета. Я попросил ее остаться. Спросил, почему она уходит.

— Отвали, — сказала она.

Выходя, она грохнула дверью, и я услышал, что она пошла в комнату Джулиана. Через тонкую стену опять донеслось “кретин”. Я натянул рубашку и брюки, думая — господи, просто какая-то крошечная сигарета. По сравнению с решением Люси возлечь обнаженной на моем пуфике. Просто сигарета. Мне надо только пойти и поговорить с ней, и хотя я не до конца понимал, из-за чего она расстроилась, я счел это своим первым уроком (в качестве мужчины), свидетельствующим о том, что понять женщин невозможно. Разумеется, она вернется, иначе ведь она не стала бы со мной спать. Конечно. Всего лишь маленькая сигарета, бумажная трубочка, набитая *сухими листьями.* Да господи боже.

Стучать я не стал. Она сидела на краешке джулианова пуфика цвета хаки — он совершенно не шел к ее волосам. Она глубоко затянулась и обняла колени.

— Привет, — сказал я.

— Убирайся.

— Люси, я не понимаю.

Когда она усмехалась, ее лицо принимало форму сердца.

— Ты даже не можешь понять, когда девушка

беременна.

Джулиан шаркал по комнате, опустив голову, похлопывал себя по карманам, заглядывал под подушку, выдвигал ящики стола.

Он с грохотом задвинул ящик и выругался.

— Держи, — сказала Люси.

Она протянула ему свою зажженную сигарету.

— Люси, прошу тебя!

Джулиан взял сигарету и глубоко затянулся, будто в его руки, рот и легкие наконец попало то единственное, о чем он всю жизнь мечтал. Он кольцами выпустил дым к потолку, затем благодарно посмотрел на Люси. Она вяло улыбнулась, протянула руку, взяла сигарету, затянулась.

И тут меня осенило. Джулиан Карр и Люси Хинтон, прямо на моих глазах, в соседней с моей комнате, наплевав на мои чувства, курили волшебную сигарету.

Я придерживался двадцатичасового расписания. “Кармен” отмеряли часы, часы складывались в дни, а поездки в трущобы и “Завтрашний мир” отмечали ход недель и месяцев. Я считал свои прошлые дни рожденья: 23, 24, 25, радуясь, что Париж излечил меня от забот.

Я много играл в пинбол, пока не научился проигрывать всего лишь на какие-то пять миллионов

очков, а затем в квартире № 47 мы выслушивали истории других курильщиков, зачастую одинаковые, и раздавали сигареты. При обмене не возникало никакого просветления. Напротив, в нем присутствовала какая-то неизбежная английская невзрачность — она будто скрывала эту неизбежность.

Иногда приходили и другие посетители. Примерно каждые два месяца парнишка с физиономией любителя яблок пытался развести нас на сигареты. Это все равно что наблюдать, как он растет и придумывает разные решения одной и той же задачи. Как-то он пришел с девчонкой — может, сестрой. Он втолкнул ее в комнату.

— Это Мэри, ей нужно 20 “Плэйерс Нэйви Кат” для матери. — Он с надеждой поглядел на нас. — Ее мать служит во флоте.

— Не глупи, — сказала девчонка, — не нужны мне никакие сигареты.

— Заткнись.

— А вот и не заткнусь. Это мерзкая вонючая привычка, которая убивает людей.

Она протиснулась мимо него и ушла. Секунд десять, не меньше, он был несчастен и разочарован, а потом задумался о чем-то другом.

— Можно мне еще раз посмотреть на картинку

с жвачкой?

Тео сказал парнишке, что отдаст ему плакат с Папаем, если парнишка будет следить, не идет ли сероглазая женщина.

— Вообще-то меня звать Джейми, — сообщил парнишка.

Я беспокоюсь — это для меня естественно. Сегодня я беспокоюсь, что Уолтера задавила машина. Беспокоюсь, что ею до смерти забил шквальный град. Что ветер понес его по улицам, как бумажонку, переломав каждую хрупкую косточку его тела. Я просто беспокоюсь, потому что без сигарет я естественнее.

В этой самой комнате в узком кругу Клуба самоубийц мы отпраздновали столетие Уолтера. Вообще-то праздник был назавтра после дня рожденья, потому что на тот предъявили права родственники. Дочь Уолтера Эмми испекла три пирога в виде единицы и двух нулей, и, желая доказать, что легкие его не ослабли, Уолтер настоял на том, чтобы задуть все свечи самому. Покидая празднество, три его внучатых племянника и двоюродный брат пожаловались, что глазурь отдавала “Св. Бруно”.

С разрешения Клуба Тео хотел составить особую юбилейную курительную смесь из ста волокон

табака. Однако ста разных волокон табака не нашлось, поэтому он собрал и переплел в телячью кожу 100 интересных фактов о курении. К внутренней стороне обложки он прикрепил темно-коричневый табачный лист, похожий на засушенное крыло огромного мотылька.

Уолтер не осмелился забрать книгу домой, и она лежит у меня на столе. Вместо закладки в нее вложена поздравительная телеграмма от королевы. Она пахнет сигарами “Король Эдуард”.

В последний раз, когда я видел дядю Грегори, в 1971 году, он смахивал на лакированный бумеранг. Он был такой коричневый, что загар почти скрывал темные родинки на плечах и спине. Он провел лето в Австралии, перебираясь из города в город вслед за международными соревнованиями по крикету “Бенсон-энд-Хеджес” и “Эшез Тест”. Когда отбивала английская команда, он снимал рубашку, закрывал глаза и подставлял лицо солнцу. Во втором туре английская команда отбивала почти два дня, и дядя Грегори не увидел ни одного мяча.

Тогда английская команда в последний раз выиграла “Эшез” в Австралии, но тем летом, глядя, как дождь лупит в окна, дядя Грегори, к моему великому потрясению, сообщил, что болел за ав-

стралийцев. У него даже не нашлось ни единого доброго словечка для Джона Эдрича.

Он пробыл у нас почти месяц, сидел без рубашки под сушилкой в саду, оголтело моргал и чинил газонокосилку, стиральную машину и все остальное, на что у отца не хватало времени. Он сжимал сигарету в зубах и тушил окурки в старой жестянке для проверки шин, стоявшей в сарае.

— Тебе просто жаль себя.

— Можно мне еще кофе?

— Перестань хандрить, Грегори. Она не хитрит.

— Я этого и не говорил.

— Ты хандришь неделями напролет. Повидайся с ней.

— Я не хандрю.

— Да не дрейфь ты, Грегори. Она всего лишь девчонка.

Будь я персонажем старого фильма, я взял бы ее в осаду, а под конец взобрался бы по водосточной трубе к ее окну на четвертом этаже, не дав ей сделать ужасную ошибку и забыть меня. Но в действительности я так и не наведался в комнату Люси. Мне всегда было там неуютно, то ли оттого, что в соседней комнате нет Джулиана Карра, то ли оттого, что ее стены увешаны открытками

с изображениями мужских торсов, до которых моему далековато. Не знаю.

— Давай, Грегори, ухвати судьбу за глотку и встряхни хорошенько.

Поэтому я пошел проведать ее и обнаружил, что стою у открытой двери, пытаясь войти, вместо того чтобы вытащить ее наружу. Там сидела подруга Люси Ким, и обе не слишком мне обрадовались. Люси прекрасно выглядела. Ее черные, очень чистые волосы были зачесаны назад. Я спросил, можно ли мне поговорить с ней наедине, и обе сказали “нет”.

— Люси, мне правда очень жаль.

— Ради бога, — сказала Ким. — Ты что, так ничего и не понял? Это всего лишь пари. А теперь все позади. Кончено.

— Что, прости?

— Это пари. А теперь почему бы тебе не свалить отсюда?

Седой старикан в шерстяной растаманской шапочке. Всякий раз в новой.

— Вы не видали пожилую женщину? — сказал он.

— Как она выглядит?

— Шатенка. Энергичная.

— Ваша жена?

— Дочь. На тропе войны.

— Извините. Мы ее не видели.

— Ну и ладно. А как насчет сигареток?

Думаю, Тео отказал ему потому, что Уолтер выглядел слишком жизнерадостным. Он даже не расстроился, когда Тео сказал “нет”. Вместо этого попросил разрешения остаться и выкурить трубку. Затем уселся и рассказал нам все про трущобы, где раньше стояли нормальные дома вроде его собственного, двухэтажные, так что в любое окно можно было вышвырнуть кошку без опасения ее угробить.

— Конечно, тогда все тоже было хреново, — сказал он. — Но ведь нам сулили, что все изменится к лучшему. Вот что обидно.

Тогда Уолтеру даже не было ста лет.

— Ваша дочь, — тихо напомнил ему Тео. — Она примерно моего возраста? Очень заметные глаза? Очень серые, очень красивые глаза?

Порой, когда Тео нужны были новые ботинки, она тратила последние деньги на сигареты. Обоим выбор казался не слишком разумным. Когда они ходили по магазинам и не могли позволить себе пирожные или чай, то отдыхали и отогревались в библиотеке, и пока мать спорила с усталым библиотекарем, портит ли сигаретный

дым страницы или нет, Тео поглощал книги из научного отдела. Настояв на своем праве курить в общественном месте, мать Тео перебирала алфавитные карточки в каталоге, выискивая псевдоним сбежавшего мужа. Сперва она перепробовала различные произношения фамилии Барклай, а затем анаграммы различных произношений. Затем перебирала наугад, порой задерживаясь на приглянувшемся имени или названии, исходя из принципа, что, если ее муж выпустит книгу, то она сразу же, как только ее увидит, узнает его псевдоним.

Вот так изнурительно она выслеживала его, желая сказать ему, что он не был — а посему по определению никогда не будет — избран Богом. Она хотела, чтобы он знал: Бог потому и расторг их брак. Что до его новой жизни, с крупье или без оной, в ней Бог не настолько заинтересован, чтобы иметь какое-либо мнение. Это все, что она хотела сообщить, чтобы он не вздумал питать ложную надежду на спасение.

В основном именно из-за этих вечеров в библиотеке у Тео были отличные успехи в школе. Через три месяца после шестнадцатилетия его приняли студентом на естественнонаучный факультет университета Глазго, где он решил

специализироваться на ботанике. Поэтому они с матерью переехали в Глазго, где мать нашла себе утреннюю работу в метро — выметала растоптанные окурки из вагонов на платформу, где кто-то еще собирал их в урны.

В моем мозгу пытается пробиться мысль, которую я тут же пытаюсь подавить. Нехорошая мысль.

Под Рождество мы ели печенья на столетии Уолтера, и он весь день щеголял в серебристо-зеленой бумажной короне. Он и его лучший друг Хамфри Кинг засиделись допоздна, так что под конец нас осталось четверо — мы приканчивали деньрожденную бутылочку “Капитана Моргана”. Я курил запрещенную внеплановую “Кармен”, поскольку это особенный день, а Тео курил “Картье”. Трубка Уолтера была набита особой смесью из четырех Табаков — неожиданным подарком Джулиана Карра.

Хамфри Кинг единственный не курил. Он не курил пятнадцать лет, с тех пор как осознал, что курит лишь в подавленном состоянии и что за сорок лет это его ни разу не развеселило. Теперь, стоит ему учуять сигаретный дым, он автоматически мрачнеет. Он сидел у камина и читал факты о курении, которые собрал Тео. По очереди

посмотрел на нас.

— Один из нас четверых умрет от рака, — сказал он.

— Выше нос, Хамфри, это могу быть я, — сказал Тео.

— Тут написано, что двадцать пять процентов курильщиков умирают от рака. Это значит — один из нас четверых.

— Будем надеяться, что китайцев не посчитали, — сказал Уолтер. Когда он захихикал, ему пришлось вынуть трубку изо рта.

— Джон Уэйн умер от рака легких, — сказал Хамфри. — Вообще-то мне нравился Джон Уэйн.

Помню, я взглянул на Хамфри, надеясь, что это будет он. А если не он, то Уолтер. Это должен быть Уолтер, в его-то возрасте, или Хамфри, по той простой, но убедительной причине, что я знал его хуже всех. Но насчет Уолтера я погорячился. Я вовсе не хотел, чтобы он умер. Я просто имел в виду, что он стар, а я молод и имею больше прав пережить 2000 год. Я собирался удивлять детишек рассказами о двадцатом веке — рассказами, которые Уолтер к тому времени уже не сможет припомнить из-за своей ветхозаветности.

Пакостная мысль все никак не желает исчезать.

На всех телеканалах Супермен регулярно расправлялся со злодеем по имени Ник О'Тин. Люди стали заниматься бегом. Возрождалось общество "Чистый воздух". Налоги на сигареты повысили, а медицинские исследования подтвердили, что сигареты с фильтром не играют особой роли в уменьшении числа сердечных заболеваний. В газетах начали публиковать первые статьи о пассивном курении, и более 600 000 английских детей наградили грамотой Супермена, подтверждавшей их личный вклад в борьбу с табачной продукцией.

Табак повсюду терпел притеснения. В портретной галерее колледжа Св. Иоанна в Кембридже замазали трубку в руке доктора Сэмюэла Парра, вздорного священника и любителя крокета, который больше всего гордился тем, что однажды курил с принцем-регентом в Карлтон-хаус. В кинозалах запретили курить, а еще годом позже на каждом окне каждого вагона лондонского метро красовалась наклейка с надписью "не курить".

И все же при выкуривании сигареты никотин поступал в мозг через семь секунд и приносил наслаждение. Из-за этого сто сорок различных марок сигарет до сих пор продавались по всей стране. Это также объясняло, почему разгромные

статьи не слишком отразились на Центре исследований табака Лонг-Эштон. У Тео все еще была работа. Я все еще бегал туда дважды в неделю и исправно получал позитивные отчеты о состоянии здоровья. Смотрел, как растет мой счетец в банке.

Люди из “Бьюкэнен” были настроены довольно радужно. Они подчеркивали, что статистика выявляла лишь связь, но не причину, что — просто в качестве примера — означало: возможно, именно зарождающийся рак побуждает людей курить. Равно обнадеживали открытия, сделанные в собственных лабораториях “Бьюкэнен” в Гамбурге, где сирийские хомячки подхватывали рак от помещения в дистиллированный никотин с тем же успехом, с каким заболевали от ведущей марки геля для волос.

Уолтер умер.

Погода знает об этом и в отчаянной ярости швыряет в окна пригоршни дождевых капель. Уолтера переехал автобус, как в одном из его рассказов. Он назвал бы это рассказом о том, как “столетнего курильщика переезжает автобус”. Как пить дать по дороге в табачную лавчонку. Да, прямо как в одном из рассказов Уолтера.

И все-таки его мог переехать автобус.

Его переехал автобус.

Его опрокинуло радиатором “лейленд ситихоппера”, ехавшего со скоростью тридцать миль в час, его пальто обуглилось, а его самого затянуло под переднюю ось.

Или ветер столкнул его — тихонько, но непреклонно (человека его возраста) — через перила моста в пустоту. Он такой старый и ветхий, он не сразу рухнул вниз, а некоторое время планировал вверх по реке, перед тем как коснуться воды.

Или в борьбе с ветром у него не выдержало сердце. Или он умер от необнаруженного рака мозга, легких, гортани, поджелудочной железы, пищевода, когда отпирал входную дверь. Или задохнулся, поперхнувшись волоконцем трубочного табака. Не знаю. Мне плевать. Я хочу, чтобы он умер.

Уолтер умер. Я тщательно обдумываю эту мысль. Это, несомненно, катастрофа. Такое стоит оплакать. Это потрясение достаточной силы, чтобы оправдать — в целях смягчения горя — выкуривание сигареты. Даже самый суровый противник курения меня поймет. Никто, конечно, меня не осудит после такой неожиданной трагедии, такой невыносимо внезапной смерти такого близкого друга, как Уолтер.

Я пытаюсь сказать, что мысленно убиваю Уолтера ради сигареты. Это явное вранье, что отказ от курения полезен для здоровья.

Он был крупнее и сильнее меня. Он был капитаном школьной команды по регби, и его торс не слишком отличался от тех, что изображены на открытках в комнате Люси. Он меньше боялся и яснее мыслил, поэтому, когда я попытался вмазать ему, он зажал мою голову подмышкой. Затем схватил меня за горло и принялся душить, пока я не взмолился о пощаде.

Теперь он спокойно выгуливал меня в садике перед корпусом имени Уильяма Кэбота, словно я просил у него совета. Он *наставлял* меня. Посреди садика высилась увеличенная статуя Уильяма Кэбота: он восседал в кресле и глядел на море. У него на голове устроилась настоящая чайка.

— А теперь послушай, — сказал Джулиан. — Просто послушай. Никакого пари не было.

— Ким сказала, это было после того случая с носками. Что ты поспорил с Люси, насколько я легковерен на самом деле.

— Она просто пыталась прикрыть свою задницу.

— Ким сказала, ты поспорил с Люси на пачку сигарет, что она не разведет меня на курение.

— *Грегори.*

— Что мне делать, Джулиан? Скажи мне.

— Повидайся с ней. Будь с ней поласковей.

— Я *был* с ней ласков.

— Черт возьми, Грегори, если она действительно тебе нравится, так купи сигарет, выломай дверь и высади всю пачку у нее на глазах.

— Я имею в виду — кроме этого. Ты уверен, что никакого пари не было?

— Ты что, действительно думаешь, что она переспала бы с тобой на спор?

— Я не говорил, что она со мной переспала. Кто тебе сказал, что мы с ней переспали?

— Повидайся с ней, Грегори.

— Но ведь что-то же можно сделать?

— Конечно. Можно все бросить и отправиться в Париж или Нью-Йорк, взяв с собой лишь жалость к себе. По прибытии осторожненько извлеки ее из картонного чемоданчика и претвори в произведения искусства в стиле страдающих любовников, как это делалось испокон веков.

— Брось, Джулиан, не придуривайся.

— Ты только представь. Грегори Симпсон в Нью-Йорке — человек, который сомневается, стоит ли вообще выходить из своей комнаты по утрам.

— Это ведь было пари?
— Грегори, ради бога.
— Да пошел ты. Пошли вы все.
— Грегори, вернись. Куда ты собрался?
— В Нью-Йорк. А ты думал куда?

Он вечно откалывал шуточки и устраивал всякие забавы. Когда мы играли в саду, он отталкивал меня и спрашивал, что сказала большая труба маленькой трубе, а я говорил, не знаю, и что же сказала большая труба? А потом я носился по лужайке кругами, руки вместо крыльев, я грузно кренился на поворотах, когда сбрасывал атомные бомбы на австралийских открывающих подающих. К моменту приземления я забывал, в чем заключалась шутка.

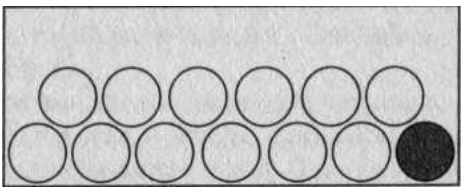
Тем летом дядя Грегори и мой папа часто беседовали наедине. Однажды они позвали меня в столовую, и дядя Грегори торжественно вручил мне конверт, на котором большими буквами значилось мое имя. Папа забрал у меня конверт прежде, чем я успел его вскрыть. Он сказал, что внутри деньги, поэтому будет лучше, если он за ним присмотрит. Конверт был совсем тоненький, поэтому не думаю, чтобы там было много денег.

Следующее лето дядя Грегори провел в Королевской больнице Аделаиды, и я каждый месяц слал

ему разные открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления, потому что так мне велела мама. Это не помогло. На Рождество, дабы скрыть, что из Австралии подарка нет, мама с папой вручили мне еще один подарок. Это была модель бомбардировщика “Канберра” масштаба 1:20 с отсоединяющейся наблюдательной турелью.

Дядя Грегори умер в больнице еще до того, как я успел эту модель собрать.

День 8



Она постучала в дверь в третий раз, и я попросил ее уйти.

— С тобой все в порядке? Спускайся.

— Потом.

Я не распаковал ни одного чемодана. Затолкал пуфик в угол — просто чтобы освободить место, а не чтобы он там стоял. Пока она не ушла, я лежал на постели совершенно молча, едва дыша. Естественно, далеко не все со мной было в порядке.

Затем я слепил все вопросы, которые она мне задала, в один бесчувственный ком, вроде пластилинового: Как экзамены? Ты не голоден? Не хочешь об этом поговорить? Все дело в девушке? Хочешь чаю? Слыхал новости об отце? Над тобой издевались? Ты ведь не принимаешь наркотики?

История слишком трудный предмет? А может, кофейку?

Когда они все смешались, я зашвырнул их на пуфик с глаз долой.

Эта комната была гораздо больше той, что в корпусе имени Уильяма Кэбота, с окном на дорогу и сад. В ней помещалась двуспальная кровать, не соприкасавшаяся со стенами, на которой я и лежал, прислушиваясь к соседям, адвентистам седьмого дня, которые обычно шатались по улицам и торчали у чужих дверей. Я был в таком оцепенении, что едва мог шевельнуть головой, тишина не помогала. Глаза мои были прикованы к выцветшей наклейке с Ником О'Тином на боку книжной полки, где стояли научно-фантастические романы.

До того как Супермен отыскал его и разделал под орех, Ник О'Тин ежедневно искушал маленьких детей сигаретами. Он говорил: "Хотите быстро подрасти — возьмите вот это".

Не помню, что говорил Супермен.

Тео с матерью жили в двух комнатенках у станции в конце Бьюкэнен-стрит. Они часто спорили — то по поводу ботаники, которую мать Тео считала убогой попыткой подражать Богу, то из-за сигарет. Она просила его — если уж он не верит

в Бога, — позаботиться о ней хорошенько, а Тео требовался всего лишь глоток свежего воздуха для ландышей, которые он перекрестно опылял на подоконнике.

По выходным его мать часто разъезжала на автобусе. Вооружившись сведениями, полученными от широкой сети друзей и знакомых — в основном кальвинистов, — она странствовала по всей Шотландии, посещая места, где в последний раз видели ее мужа. Сведения всегда оказывались неверными, но она считала, что однажды узнала его сутулую спину в рубке рыбачьего судна, выходившего из Краоб-Хэйвен.

В девятнадцать Тео получил первую степень. Мать обвинила его в том, что он пытается прыгнуть выше головы, однако на церемонию награждения купила им обоим новые туфли и гордо стояла в первых рядах в зале заседаний, где ее сыну официально присвоили звание бакалавра. После этого Тео подал заявку на докторскую степень, предварительно озаглавленную “Обманная система вирусных инфекций у растений”, и стал самым молодым студентом-исследователем, когда-либо принятым в университет, — рекорд, который он удерживал до середины семидесятых, когда математический факультет начал прини-

мать студентов из Китая.

Возможно, Уолтер *действительно* умер.

Он опять не пришел, и, возможно, его действительно переехал автобус.

Сегодняшнее ощущение значительно отличается от вчерашнего. Вчера была просто плохая, злобная и темная мыслишка, имевшая отчетливую форму. Но сегодня, на второй день, я думаю, что он, возможно, действительно умер. Что же мне теперь делать? Закурить? Как трогательно. Между тем, как, по моему мнению, все сложится и тем, как все складывается на самом деле, — огромная разница. Придется звонить Эмми. Я должен знать, что стряслось с Уолтером.

Ладно, хорошо. Решено.

Я просто позвонил Эмми, и после расспросов касательно растения и не рассказывал ли мне Уолтер про Стеллу она наконец поняла, почему я так обеспокоен. Она довольно убедительно сказала, что Уолтер не умер. Он был в доме Хамфри Кинга, успокаивал миссис Кинг.

— Так он в порядке? — сказал я.

— Да. Ты молодец, что позвонил.

Уолтер не умер. Его не переехал автобус. Мне так полегчало, что я, наверное, смог бы выслушать его историю о расстреле. Мне так полегчало,

что я бы и сам смог ее рассказать.

То был не первый раз, когда я просил деньги дяди Грегори. Однажды я украл несколько шоколадных сигарет “Лаки Бой” с витрины со сладостями в одном из отцовских магазинов. Новый помощник, имени которого я не знал, отвел меня в кладовую и устроил нагоняй, еще один я получил от родителей, когда вернулся домой. Я чуть не расплакался, мне хотелось быть сильнее, и я представил себя дядей Грегори в кабине “Канберры” или на старте мотогонок.

После нагоняя я вытянулся по струнке, извинился и попросил денег на билет до Аделаиды, где собирался начать новую жизнь в качестве летчика и любителя крикета. Мать сказала “нет”, и если я хочу управлять сетью табачных магазинов, то должен научиться быть честным. Затем отец сказал “нет”. Так что я все-таки расплакался, а мама обняла меня и сказала, что я получу деньги, когда вырасту, если пообещаю никогда больше не красть. Я пообещал.

— И не курить, — добавила она.

Впоследствии я редко об этом задумывался — только если казалось, что лишь роскошный скейт, или самокат с моторчиком, или приличный магнитофон стоят между мною и моей

популярностью в школе.

Но на сей раз, как только отец вернется домой, я собирался пойти вниз и потребовать у него конверт дяди Грегори. Он начнет возражать, мы наверняка поскандалим, но я готов к скандалу, если это означает, что я получу деньги и до конца недели окажусь в Нью-Йорке. Я за месяц наверняка закадрю новую девушку. Я покажу Джулиану Карру и Люси. Они у меня попляшут.

Вот тогда все будет в порядке.

Примерно дважды в год он подхватывал страшный грипп, который потом выкашливал из себя несколько недель. Он всегда отказывался сходить к врачу.

— Я не болен, — говорил он. — Никогда в жизни не болел.

Тогда я отправлялся в трущобы один. В противном же случае мы ехали туда вместе, и к нам часто присоединялся Уолтер, хоть и не всегда в растаманской шапочке.

Джейми бдительно вышагивал по коридору, катался вверх-вниз на лифте и подстерегал сероглазую загримированную даму. Но хотя Тео давал ему киноафиши и батончики “Баунти”, Джейми не переставал клянчить сигареты. В конце вечера мы закуривали, и Уолтер рассказывал истории,

меж тем как Джейми листал журналы из приемной и разглядывал рекламные объявления. Затем он принимался мечтать о том, что сделает, когда разбогатеет. Джейми и Уолтер всегда отправлялись по домам вместе, причем каждый был уверен, что защищает другого.

Часто к нам приходила Эмми. Драматический клуб "Колокольчик" тоже собирался по средам, поэтому иногда Эмми выглядела старше, а иногда моложе. Впрочем, глаза ее не менялись. Благодаря расположению комнат и сигналам Джейми мы всегда могли спрятать Уолтера, затолкав его сперва в ванную, а потом, для пущей надежности, еще и в туалет.

— Клянусь вам, — искренне говорил ей Тео, — я никогда не давал никаких сигарет никакому старику.

Впрочем, после каждого прихода Эмми Тео еще минимум час вел себя несколько странно. Людям, пришедшим за сигаретами, он задавал другие вопросы — например, *хорошенько* ли они подумали об опасности ранней смерти. Ответы были предсказуемые:

— А у вас есть какие-нибудь *планы* на эти годы? Каникулы или что-нибудь в этом роде?

Или спрашивал, не боятся ли они потерять вкус

или нюх, что всегда вызывало улыбку.

Иногда я выскакивал в приемную, чтобы побыстрому выкурить “Кармен”, и смотрел, как курят другие. В этом была какая-то весомость, которая говорила о том, что каждая сигарета заменяет собой все: хлеб, мясо и пиво, и ботинки, и одеяла, и мишуру на рождественской елке, и саму рождественскую елку, и запасы пищи на полке, и что-нибудь приличное по телику. Что-нибудь, что угодно, все, что можно предвкушать. На что можно положиться.

Панацея — это чудесное растение, излечивающее все известные болезни. Это универсальное лекарство, палочка-выручалочка, и Плиний претенциозно называл ее девясилом. Позже свойства панацеи приписывали другим растениям, например моржовнику и опопанаксу, чистецу и гамамелису.

Первую параллель между мифической панацеей и табаком провел в Англии Эдмунд Спенсер, автор “Королевы фей”, и ко времени смерти королевы Елизаветы было прекрасно известно, что табак излечивает простуду, воспаление глаз, непроизвольное слезотечение, головную боль, мигрень, водянку, паралич, замедленное кровотечение, апоплексию, летаргический сон,

родильные схватки, истерические страсти, головокружение, потерю памяти, беспокойство, черную тоску, умственное расстройство, бляшки, халитоз и все инфекционные заболевания, известные человечеству.

Потом универсальное лекарство стали искать не в растении, а в действии, или в случайности, или в мысли. Вся наша ежедневная неудовлетворенность могла в мгновение ока развеяться как дым благодаря открытию панацеи — надежда, которую исправно подпитывали казино, реклама товаров и обещания эмиграции в какой-нибудь рай вроде Австралии. Панацея перемещалась от растений к лекарствам, великим мыслям, откормленным лошадям и удачным цифровым комбинациям миллионами путей, присущих переменчивым умонастроениям мрачных мужчин и женщин.

Но со времен Плиния надежда на панацею всегда была прибежищем чудесной любви хорошего мужчины к хорошей женщине. Это самая распространенная палочка-выручалочка, она гарантированно излечивает все.

Группка из четырех-пяти человек с дочерью Уолтера Эмми Гастон в центре. Она без грима. Темные волосы собраны в самый обычный хво-

стик, стянутый резинкой. Она наверняка на несколько лет моложе Тео, она поджидает в темноте со своими друзьями, за двойными дверями к лифту. Они держат два плаката, с виду уже не новых, на которых от руки черным фломастером написано: “ЗАМЕДЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО” и “НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ!!!”.

Пятеро пикетчиков во главе с Эмми зашли с нами в лифт, и в этой тесноте мы поднялись на четвертый этаж, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Лифт остановился, и мы один за другим вышли в коридор. Было так холодно и от нашего дыхания образовывалось столько пара, будто каждый затянулся в лифте целой пачкой сигарет. Перед № 47 уже ждали несколько человек, и, пока Тео отпирал дверь, Эмми спросила, обратившись не к кому-то конкретно, а ко всем сразу:

— Вы знаете, что этот человек дает сигареты детям? Вы хотите, чтобы ваши дети курили? Вы знаете, какова вероятность подхватить рак, если начать курить раньше четырнадцати лет?

— Эмми, — сказал Тео. — Зайдемте внутрь. Обсудим все там.

Она стояла совершенно неподвижно и смотрела на него. Ее ноздри сузились и выпустили длинную прямую струю пара.

— Кто вам сказал, что вы можете называть меня Эмми?

Казалось, спина ее распрямилась. Тео изобразил легкий извиняющийся поклон.

— Сожалею, — сказал он, но куда больше удивлялся своей ошибке, будто произносил про себя слово “Эмми” так часто, что оно незаметно для него стало ему привычно. — Пожалуйста, проходите, — сказал Тео, отчасти придя в себя. — Прошу всех внутрь.

Одна женщина из трущоб сказала:

— Я знала, что это случится.

1916 год.

Утро битвы на Сомме. За шесть часов погибло двадцать тысяч человек, причем все отнюдь не по случайности или невезению. По сравнению с курением, решает Уолтер, это настоящая глупость и заигрывание со смертью.

Офицерский адъютант арестовал Уолтера, рядового Черной стражи, за то, что Уолтер отошел слишком далеко от передовых окопов. Через два дня, в назидание всем солдатам, плохо ориентирующимся на местности, полевой суд приговорил Уолтера к расстрелу. На третий день он стоял у стены разрушенного дома перед взводом снабженцев Личных королевских шотландских

пограничников и младшего лейтенанта королевских драгун. Солдаты продрогли, вымокли и устали, но офицер, если верить Уолтеру, был непреклонен, потому что солдаты не считались за людей.

Уолтеру не надели повязку на глаза, но связали руки сзади. Он прижимается спиной к стене, стена покрыта зеленоватой влагой, влага проникает сквозь мундир к напряженным плечам, которые, впрочем, и так мокры от пота. Снабженцы заряжают, проверяют и берут наизготовку ружья. Офицер, явно не новичок в таких делах, отдает приказ целиться, и ружья вскидываются, все до единого нацеленные в сердце Уолтера. Офицер неторопливо поднимает руку.

Дальше может произойти что угодно.

Примерно через месяц после того, как Тео внес поправки в свою докторскую диссертацию (“Обманная система вируса табачной мозаики”), его мать прослышала, что кто-то видел, как ее бывший муж и отец Тео работает на кухне базы истребителей КВС близ Ачнашина.

Больше всего мать Тео любила путешествовать на автобусах компании “Красная лента Западного побережья”. Они достаточно высокие, чтобы все видеть за изгородями, едут как раз с нужной

скоростью и достаточно велики для циркуляции сигаретного дыма в отличие от тесных купе поездов “Железных дорог Западного нагорья”.

В тот раз из Глазго на север выехало всего шесть пассажиров. Задолго до Эрскин-бридж они начали многозначительно покашливать и раздраженно коситься в заднюю часть автобуса, где мать Тео с удобством устроилась на заднем сиденье, отпугивая возможных соседей тем, что смолила одну сигарету за другой.

К Ардлуи все пассажиры сгрудились на сиденьях сразу за водителем, а мать Тео наслаждалась шотландскими пейзажами, что пролетали за стеклами с эмблемой Британского института стандартов.

В двадцати минутах езды от Ачнашина автобус свернул за угол и чуть ли не лоб в лоб столкнулся с тягачом КВС, нагруженным хвостовой частью истребителя-бомбардировщика “Вулкан”. При столкновении обе машины заскользили по дороге. Прицеп тягача въехал в заднюю часть автобуса, сорвав правые задние крылья и раздавив в салоне кресла.

Мать Тео умерла мгновенно. Больше никто не пострадал.

Он пришел раньше, чем я ожидал, а затем

мне показалось, будто я слышу их ругань, но это неправда, потому что они никогда не ругались.

Я спустился к чаепитию, все молчали, поэтому я брякнул, что бросаю университет и хочу получить деньги дяди Грегори. Коротко и ясно.

— Сейчас не время, — сказала мать.

— Дай мальчику договорить!

Я оторвал взгляд от тарелки, подумав, как же много я пропустил меньше чем за год. Люси однажды спросила, чем занимается мой отец, и я сказал, что по воскресеньям, между завтраком и "Древними древностями" по телику, он катается на машине. Затем я показал ей восклицательные знаки в одном мамином письме, и у нас от восхищения захватило дух, хотя мы оба не могли точно сказать, что именно в них не так. Люси спросила, что представляет собой моя мать, и я сказал — сама знаешь. *Сама знаешь*, как будто нечего сказать, кроме того, что уже известно. Мне понадобилось так мало времени, чтобы их забыть. Я не заслуживал этих денег.

Мама поджала губы и нахмурилась. Она была очень похожа на меня и сильно беспокоилась, а причиной ее беспокойства был я. Папе не мешало бы подстричься. Он усталый и какой-то расстроенный, будто явственно видел ту дурацкую

жизнь, которую я себе наметил, где светлые куски чередовались с очаровательными катастрофами, и я занимался лишь тем, что спасал прекрасных женщин. Примерно так могла выглядеть жизнь кинорежиссера, но кинорежиссер хотя бы мог сделать из нее фильм.

— Хорошо, — сказал папа. — Завтра я это устрою.

Мама спросила, не сошел ли он с ума. Не поняв ее и немножко зардевшись от своего успеха, я заверил ее, что в университете ни разу не курил.

— Грег хочет потратить часть денег на поездку за границу, — сказал папа. — Он достаточно ясно выразился.

— Никаких проблем, — сказал я, — отлично.

— А к чему такая спешка? — спросила мама. — Ты можешь оставаться сколько угодно. Я имею в виду — здесь.

— Там десять тысяч фунтов с хвостиком.

— Нью-Йорк, — сказал я. — Я подумывал отправиться в Нью-Йорк.

— Поработал бы в магазине, — сказала мама. — Грегори?

Папа сказал:

— Значит, все-таки не в Голливуд?

— Пап, я знаю, что делаю.

Эмми, все еще загримированная под Гедду Габлер, направлялась в № 47 в поисках Уолтера, и тут обнаружила Джейми, который в одиночестве сидел в лифте и курил. Она спросила Джейми, не Тео ли дал ему сигарету, и тот крепко задумался над вопросом. После изрядных размышлений он сказал “нет”.

Вместо этого он сказал, что Тео ее продал.

— Но я расплатился своими деньгами.

Через неделю Эмми явилась собственной персоной с плакатами и друзьями.

Мы прошли в дальнюю комнату. Я зажег газовый камин, пока Тео спрашивал Эмми, не могут ли они прийти к какому-нибудь соглашению, как взрослые люди.

— Вы продаете сигареты детям, — сказала она.

— Взгляните на меня, — сказал Тео. — Разве я такой?

— Понятия не имею, какой вы. Я вас предупреждала. И я знаю, что Уолтер сюда ходит.

— Я все объясню.

— Вы, кажется, думаете, что все это какая-то шутка, — сказала она, хлопнув рукой по столу. — А люди от курения умирают мучительно и быстро. Это может произойти меньше чем за год. Вы когда-нибудь видели рак языка? Он распухает,

пока не займет весь рот, который уже поражен раком, а этот рот может принадлежать вам, или Уолтеру, или Джейми. Затем распухает гортань, затем лимфоузлы в нижней челюсти и, наконец, шея. Вы не можете говорить, не можете есть. Не можете даже блевать, хотя вам почти постоянно отчаянно этого хочется. Естественно, вы больше не можете курить. Просто не можете вдохнуть дым, хотя боль уже не оставляет места тяге к никотину. Но ведь не только в курильщике дело. Нет статистики, которая бы учитывала боль друзей и родственников, вынужденных это наблюдать. Может, вы от этого и счастливы, но вот я — нет.

— Да бросьте, — сказал я, но Эмми ответила "заткнись", на меня даже не взглянув. Она сказала Тео:

— Это лишь начало.

Тео вздрогнул, когда она захлопнула за собой дверь. Он сказал мне:

— Неужели она думает, что я стал бы этим заниматься, если бы не считал это правильным?

Нью-Йорк — это жующие никотиновую резинку надменные блондинки на карликовых тротуарах подзывают желтые такси чтобы доехать до роскошных пентхаусов в жутких небоскребах и обстряпывают грязные делишки с заляпанными

никотином адвокатами что кичатся бриллиантовыми булавками для галстука купленными у мусолящих сигары ювелиров плачущих о сбежавших дочерях играющих в порнофильмах снимаемых курящими сигариллы хлыщами в костюмах из акульей кожи любящими надменных нью-йоркских блондинок жующих никотиновую резинку. А улицы там вымощены золотом.

Говорят, что курильщики в Америке — по крайней мере, в высших слоя общества — парии.

Выбор был достаточно очевиден — неравное состязание между страной неограниченных возможностей и ненавистным мне университетом, противными экзаменами и соседом, которого я не хотел больше видеть никогда в жизни. Впрочем, у меня было ощущение, что, если я отправлюсь в Нью-Йорк, почти наверняка никогда больше не увижу Люси Хинтон, поэтому я провел остаток недели, валяясь на кровати в своей комнате. Я читал куски удручающих французских романов, которые нагоняли на меня сон после обеда, и сны после них рождались легко, словно речь.

Отец регулярно приходил домой много раньше обычного. Я слышал, как он крадется по дому. Он спросил меня, почему я не отбываю в Нью-Йорк.

— Готовлюсь, — сказал я.

— К чему?

— Хочу найти себя.

— Думаешь, ты в Нью-Йорке?

— Думаю, я хочу знать, кто я такой.

Он посмотрел на меня поверх очков.

— Сынок, тебе надо узнать куда больше.

Разумеется, он шутил. Я вспомнил, что иногда он любил пошутить. Я сказал:

— Я слышал насчет ОБИ. Хорошие новости.

— Да, недурные, — сказал он. — Весьма недурные. Чертовски восхитительно тактично.

Затем он улизнул в ванную, прихватив с собой газету. Я помнил дом совсем не таким.

Одна из возможностей — национальный американский фольклор. Даже когда “Энфилд-303” нацелены прямо в Новый Завет в верхнем левом кармане мундира, Уолтер напоминает нам, что курение зародилось как торжественный духовный и дипломатический обряд на равнинах обеих Америк, где паслись бизоны. Примерно в то же — с точки зрения истории — время существовал боевой клич, известный многим индейским племенам, включая кроу, команчей, пананки и пикаюнов. Мы *люди,* вопили они, налетая на другое племя, *мы* люди. Все остальные — просто враги.

Значит, если верить Уолтеру, офицер, командовавший его расстрелом, ничуть не лучше краснокожего дикаря.

Еще одна возможность — меж тем как пальцы, куда более привычные к полковой меренге, все плотнее прижимаются к спусковым крючкам — заключается в том, что Уолтер напоминает нам: все это имело место, когда пассивное курение еще даже не *придумали.* Затем, после короткого иронического отступления (если бы про пассивное курение знали, то, разумеется, никто не курил бы в окопах), он может описать, как офицер — одна рука все еще поднята, а вторая похлопывает стеком по темно-коричневым голенищам сапог для верховой езды, — суется усами Уолтеру в лицо и говорит:

— Последняя просьба, солдат.

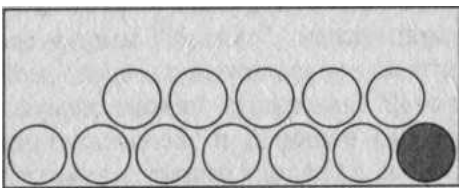
И Уолтер, до этого куривший всего раз-другой забавы ради, просит сигарету. Он говорит, что тогда у него впервые в жизни — потом это случалось еще не раз — появилась твердая уверенность в том, что ему не суждено умереть от курения.

Ему дают сигарету “Крэйвен-А”, и когда он выкуривает ее уже наполовину, офицер королевских драгун, переживший слишком много расстрелов, валится замертво от пассивного куре-

ния. Больше никто не имеет права отдать приказ открыть огонь, поэтому снабженцы отпускают Уолтера. Чтобы отметить это, он выкуривает вторую сигарету.

Вывод из истории Уолтера о расстреле зависит от финала. В этой версии вывод таков: “Не верь всему, что читаешь”. У других версий другие финалы, а потому и другие выводы, но в разных версиях неизменно одно. Уолтер находится здесь и рассказывает эту историю, что явственно означает: снабженцы Личных королевских шотландских пограничников его не расстреляли.

День 9



Единственным табаком в доме была сигарета, которую я когда-то взял у Джулиана. Я держал ее в пенале фирмы “Хеликс”, между циркулем и компасом, где она приютилась рядом с заточенными карандашными огрызками. Чемоданы я все-таки распаковал, и Джулиан оказался неправ, потому что вместо жалости к себе я нашел лишь носки, трусы, футболки, свитеры, дешевые книжонки, пепельницу, пенал фирмы “Хеликс” да пару кроссовок. Я не стал все это убирать, так как еще намеревался отправиться в Нью-Йорк самое позднее через неделю. А пока что повсюду валялась одежда — половина в чемоданах, остальное на полу.

Я держал пенал фирмы “Хеликс” на ночном

столике, чтобы записывать сны, которые приходили ко мне в виде речи, но всегда опаздывал и снов не запоминал. Вместо этого, еще толком не проснувшись, я разгребал карандаши, доставал сигарету, брал ее за кончики двумя пальцами и в вечернем сумраке медленно описывал ею дуги, как отделенным самолетным крылом. Я рассматривал ее во всех мыслимых ракурсах, двигая то туда, то сюда в ожидании вдохновения.

Я смотрел на нее так долго, что в итоге понимать было уже нечего. Это всего лишь сигарета, какие-то сухие листья, набитые в бумажную трубочку, с одной стороны она заканчивается фильтром. Больше из нее ничего не вытянешь. В ней не заключалось никакой морали, ей нечего мне сообщить. Это всего лишь сигарета среди сотен тысяч себе подобных, которые можно купить по всей стране в магазинах вроде тех, что принадлежали Симпсону, торговцу табачной продукцией и периодическими изданиями, вокруг которых в нашем районе опять поднялась шумиха, потому что владельца мистера Симпсона обвинили в продаже сигарет несовершеннолетним.

Ожидалось, что торговая палата отзовет его номинацию на ОБИ.

Уолтер вернулся.

На нем австралийская армейская панама. Она выгорела почти добела, а поля с одной стороны пристегнуты к макушке. Резинка впилась в подбородок, и оттого шляпа сползает Уолтеру на лоб, когда он говорит или пожевывает чубук. Гемоглобин довольно развалился у ног Уолтера, и в комнате, как и полагается, снова пахнет табаком.

Когда Уолтер сказал, что Хамфри Кинг умер, мне показалось, он вот-вот расплачется. Я смутился и отвернулся. Провел ладонями по листьям растения на столе, точно в поисках тли.

— Он был один из самых близких моих друзей, — сказал Уолтер. — Несчастный старый ублюдок.

Уолтер рассказывает, как однажды они с Хамфри курили кальян перед борделем в Танжере, и один широкий лист отламывается в моих руках. Уолтер шмыгает носом, а я надрываю лист с краев, складываю, разворачиваю и снова надрываю.

Похороны завтра, Уолтер обещал миссис Кинг, что я приду. При помощи измятого белого платка он шумно прочищает нос, а затем, когда кажется, что слез уже не избежать, присасывается к трубке, сглатывает, и слезы чудесным образом растворяются в табачном дыму.

— В Танжере он сказал, что не хотел бы умереть в своей постели, — говорит Уолтер. — У него ничего не вышло.

— Значит, естественные причины?

— Конечно, нет. Какой-то рак. Как всегда.

Я пытаюсь отвлечь его, спрашиваю, не знает ли он кого-нибудь по имени Стелла.

— Стелла, — медленно произносит Уолтер.

— Эмми сказала, ты должен сообщить мне что-то о человеке по имени Стелла.

— Давным-давно была такая марка сигарет.

— Думаю, это все же человек.

— Хамфри их курил.

Он глубоко затягивается трубкой, а я смотрю на остов листа в моих пальцах. Он очень хрупкий, очень тонкий. Я выбрасываю его в корзину. Столешница усыпана обрывками листа, которые я сгребаю в аккуратную кучку. Затем подсовываю под нее лист бумаги и ссыпаю обрывки листа в конверт, который тщательно запечатываю и убираю в верхний ящик стола.

Не знаю, зачем. Нерациональное, но скрупулезное действие и столь же уместная реакция на смерть, как любая другая.

В 1960-м, в 24 года, Тео стал доктором философии. Он ничем особо не выделялся: не курил и не

пил — крошечный протест против материнского поведения, — но теперь мать была мертва. Метро Глазго выплачивало жалкую пенсию, но теперь, без ритуальных перепалок — сколько откладывать на виски и сигареты, — эти деньги не имели никакого смысла. Ему остался только шкаф ее одежды, пропахшей дымом.

Не желая принять случайную природу ее смерти, Тео решил провести научное исследование Провидения и рискнуть пенсией на скачках. Если он проиграет все деньги, лишится квартиры и вследствие этого умрет от холода или голода на улицах Глазго, пускай Бог пеняет на себя.

Поэтому он сел на поезд до ипподрома в Эре. Была середина недели, поэтому в программе стояло всего четыре заезда. Чтобы продлить мучения, он решил проиграть по четверти денег на каждом заезде и выбирал лошадей наугад. В 2:30 он поставил на Гнедого Упрямца. Тот упал. В 3:00 Божественный Шанс Доктора пришел вторым, но Тео ставил на то, что он придет первым. В 3:30 Мистер Клинамен не взял старт, и хотя ставку Тео можно было забрать, букмекер забыл ему об этом сообщить. В последнем заезде Тео поставил все оставшиеся деньги на трехлетнего мерина-аутсайдера по кличке Неправдоподобно Хорош.

Когда начался заезд, Тео уже протискивался к выходу с трибун, преисполненный скорби, заново осиротевший и теперь нищий, окончательно отринутый Богом своей матери.

Они наверняка лежат на полу в комнате Джулиана. Сдают карты и курят, глядя друг на друга. Почти все время смеются. Игроки в покер — они прокуренными пальцами подбирают червовую масть, блефуя ради горок спичек “Ингландз Глори”. Затем подсчитывают спички и переводят их в более твердую сигаретную валюту. Они постоянно этим занимаются.

Его обыкновенный бежевый пуфик не оставил никаких особенных следов на ее обнаженной спине и ягодицах. Я представил себе ее лицо в форме сердца. Все это было пари. Это было всего лишь пари. Или еще хуже — это было вовсе не пари, и я действительно ей нравился и все испортил, но еще до того, как я выясняю, что это означает, они снова беспечно — соседей-то уже нет — занимаются любовью.

Потом, глядя на дымовую завесу над пуфиком, они забавляются, набрасывая донельзя смехотворную физиономию Грегори Симпсона, глупого, невинного, некурящего, бледного и запуганного отражениями в зеркальных небо-

скребах Нью-Йорка. Они поспорили друг с другом на блок “Мальборо”, что через неделю он влюбится и будет неисправимо соблазнен умным, сильным, красивым и очень требовательным трансвеститом.

Они весьма опытные спорщики, и потому вряд ли ошибались.

Эмми Гастон в хоровой версии “Мы преодолеем” вторили пятнадцать или, может, двадцать голосов, и мы выкурили уже по две сигареты каждый, чтобы набраться храбрости и уйти. Джейми убежал домой, показывая знак из двух пальцев — “победа”, — пока мчался по коридору, а Тео убеждал Уолтера, что, если тот больше не хочет приходить, ничего страшного, учитывая проблемы, которые это создает ему дома.

— Я курю, — сказал Уолтер, гордо сжимая чубук в зубах. — Я всегда курил. И всегда буду курить.

— Вам не стоит ссориться с дочерью.

— В жизни не боялся трудностей.

— Пожалуйста, Уолтер. Вам же хуже будет.

Уолтер осмотрел трубку снизу, будто опасался, что та подтекает.

— Идите домой, Уолтер, — сказал я, — а то она подумает, что мы вас похитили.

— Не могу, — сказал он.

— Подумайте о себе для разнообразия, — сказал Тео.

— Именно это я и делаю.

Эмми выяснила, что это Уолтер дал Джейми сигарету.

— Я же с лучшими намерениями, — сказал Уолтер. — Чтоб заплатить ему за слежку.

— Он же еще ребенок.

— Не думаете же вы, что он делал это ради шоколадок? К тому же он никогда не обижал *меня.*

Помимо Уолтера, Джейми был нашим единственным союзником. Ему нравилось выполнять жалкое подобие своей бывшей работы, и каждую среду он мчался навстречу нам через пустырь с криком “она опять здесь, она опять здесь”. Так оно всегда и оказывалось.

У Эмми дела с союзниками обстояли куда лучше. Она стучалась в двери к незнакомым людям и вежливо описывала, как Тео дает сигареты детям, беременным женщинам и больным умирающим старикам. Не хотят ли они подписать петицию? Она общалась с профессиональными врачами, противниками вивисекции и местным обществом “ПЕПЕЛ”, которых затем разбивала на роты.

Она окрестила свое сборище противников куре-

ния Лигой против Ехидных Гадких Курильщиков, Отравляющих Естество. Затем пошила шляпы ЛЕГКОЕ, похожие на матросские бескозырки с эмблемой “не курить” над словами “Быстрая смерть”. Ее деятельность не ограничивалась пределами трущоб: она уже начала обрабатывать холм ближе к мосту. Она сделала плакаты “ЛЕГКОЕ за легкие, ЛЕГКОЕ за жизнь”, которыми размахивала в коридоре, пока мы, сидя в № 47 и прислушиваясь к пению, не решили выкурить по самой последней сигарете перед уходом.

— Чертова дура, — сказал Уолтер, набивая трубку. — Совсем свихнулась после того, как выскочила за этого французишку.

Зажигалка Тео остановилась на полпути к сигарете. Он исподлобья посмотрел на Уолтера.

— Я ей задам, — сказал Уолтер. — Задам так, что мало не покажется.

Обычное европейское колесо поделено на тридцать шесть пронумерованных секторов: половина красные, половина черные. Есть еще сектор зеро, выкрашенный зеленым. На стол можно сделать десять ставок: от одного номера, с выплатой 35 к 1, до линии из двенадцати номеров (“колонка”), с выплатой два к одному. Менее отчаянные игроки ставят на красное или черное,

чет или нечет и большие (manque) или малые (passe) номера, хотя выплаты здесь мизерные. Если шарик рулетки попадает в сектор зеро, все ставки забирает банк.

Касательно происхождения этой игры существует несколько мнений. Одни говорят, что рулетку придумал в семнадцатом веке французский математик Блез Паскаль, который также изобрел цифровой калькулятор, шприц и гидравлический пресс. Другие считают, что идея — а дело было в начале восемнадцатого века, — принадлежала исключительно папскому послу в Тулузе, кардиналу Жозефу-Бьенаме Кавенту. Впрочем, вероятнее всего, ее изобрели в Китае, а во Францию завезли доминиканские монахи.

Хотя результат любого поворота колеса определяется случайностью, игроки часто ощущают некий элемент системы, зависящий от вероятности, которую обычно измеряют в процентах. К несчастью, слишком сильная вера в вероятность в итоге приводит к математической аномалии, известной как ошибка Монте-Карло. Это ложная гипотеза, что вероятность приложима к отдельным событиям, тогда как в действительности она лишь точно описывает предсказуемые соотношения. По сути это означает, что удачные ставки не

покрывают друг друга.

Стало быть, для игрока у стола с рулеткой проценты вероятности имеют небольшое значение или вовсе никакого не имеют. Любой может потерять все или выиграть много, потому что все игроки знают: математическое ожидание — далеко не единственная реальность. По очевидным причинам игроки в рулетку зачастую предпочитают верить в судьбу.

Варианты европейской игры в рулетку можно обнаружить в Соединенных Штатах и в России.

Я открыл дверь, скрестил руки и расставил ноги. Однако это оказалась всего-навсего Лилли — она возвышалась на лестничной площадке.

— А, привет, Лилли. Я и не слышал, чтобы Тео плясал.

— Впусти меня и эту женщину, — сказала Лилли, протискиваясь мимо меня. За ней шла Эмми, спокойная и сдержанная, в белых брюках и свитере. Ее волосы были собраны сзади, и в таком освещении я разглядел, что лицо у нее не сердитое.

Тео вышел из кухни с собачьей миской в одной руке и вилкой в другой. Он развел руками.

— Добро пожаловать, — сказал он.

— Эта дама говорит, вы продаете сигареты

детям, — сказала Лилли, выталкивая Эмми на середину комнаты. — Она хочет, чтобы я подписала петицию против курения, а в закусочной из-за этого очередь.

Эмми погладила Бананаса по голове, когда тот принюхался к пепельнице.

— Все это ложь, — сказал я.

— Вот вы сами и разбирайтесь, — сказала Лилли. — Потому что все мы разумные люди, а мне надо обслуживать покупателей. Парни, если захотите есть, просто попляшите.

Она что-то ворчала себе под нос, топая вниз по лестнице, а Тео сказал, что это сюрприз и не хочет ли Эмми чашечку чая?

— Я в этих краях случайно оказалась, — ответила она быстро. — Впрочем, попить не откажусь.

Тео поставил собачью миску на телевизор, а я пошел на кухню заваривать чай. Вернувшись, я с изумлением увидел, что они сидят рядышком на диване. Это означало, что мне придется сидеть в кресле чертовски далеко от них. Эмми говорила:

— А вы уверены, что обдумали это со всех сторон?

— Молока достаточно? — вежливо спросил я. Она не ответила, поэтому я закурил “Кармен” и выпустил дым прямо ей в лицо. Облако пере-

секло комнату и проплыло у Эмми над головой. Тео сказал:

— Посмотрите на Уолтера. Он ведь, кажется, в полном порядке.

— Уолтер очень дряхл и постоянно в опасности.

— Уолтер силен как бык.

— Он *дряхл.* Он умрет, если будет и дальше курить.

— Ему девяносто восемь лет.

— Вот именно. Сколько еще это может продолжаться?

Она пристально посмотрела на Тео, и он закрыл рот, чтобы скрыть зубы.

— Когда вы в последний раз проверялись?

— Простите?

— Если, по вашим словам, от сигарет больше пользы, чем вреда, когда вы в последний раз ходили к врачу?

— Со мной все в порядке, — сказал Тео. — Я отлично себя чувствую. Никогда в жизни не болел.

— Именно так всегда говорил мой муж.

— Ах да, ваш муж.

Она встала и протянула Тео свою чашку. Тео сказал:

— Не хотите еще чаю? Печенья?

— Я, конечно, еще увижу вас в трущобах. Спасибо за чай.

— У нас есть печенье.

Но Эмми уже закрывала за собой дверь. Он прислушался к ее шагам на лестнице, затем фыркнул на чай, оставшийся в ее чашке. Поднял ее к губам и допил. Проглотил и вздохнул, словно это первая сигарета за день.

— Врунишка, — сказал я. — У нас не бывает никакого печенья.

Папа:

— Да откуда мне знать? Они все одинаковые, все накрашены и все ведут себя как взрослые.

Мама:

— Не в этом дело.

Папа:

— И все врут. Ради бога, я же не наркотическую кислоту им продаю.

Часто, обычно когда я лежал в ванной, у меня возникала яркая и твердая убежденность в собственной гениальности, гениальная сама по себе. Исследуя свое потенциальное величие, я погружался в бесконечную галерею воображаемых триумфов, кои не нарушить хлопаньем дверей внизу или раздраженными голосами, что отчетливо доносились из кухни сквозь пол.

Папа и т. д.:

— Можно подумать, *ты* никогда не ошибалась?

Мама и т. д.:

— При чем тут это?

— Никогда не высовывалась из окна спальни?

— Это было пятнадцать лет назад.

— И не смотрела, как он там расхаживает голый специально ради твоего удовольствия?

— Да не был он голый.

— У тебя аж слюнки потекли.

— Ничего подобного, и никакие слюнки у меня не текли.

— Только потому, что ты не стала бы целоваться с курильщиком.

— Ты несешь чепуху.

— Он не выдержал бы и десяти минут твоей пилежки.

Пальцами ноги я открывал горячий кран и с головой погружался в воду, и наконец все звуки исчезали, кроме китового пения водопроводных труб. Я был центром вселенной, я спасал прекрасных женщин, здесь не существовало смерти и одиночества, и я думал, что мне суждено жить вечно.

Неправдоподобно Хорош пришел первым со

счетом двадцать к одному, сделав Тео гораздо богаче, нежели до прихода на ипподром. На следующий день, не убоявшись извращенности Бога, Тео поставил выигрыш на дополнительные выборы Хэмилтона. Неожиданная победа шотландских националистов означала, что его деньги более чем удвоились. Он снова попытался спустить их в не легальной игре в “очко” в кафе “Поллокшоуз”, а затем в рулетку в “Рубиконе” — единственном казино в Глазго, имевшем лицензию. Потом он перешел на гонки борзых, бинго, игральные автоматы и “одноруких бандитов”.

Дабы увериться, что за выигрыш ответствен лишь Бог его матери, он решил, что все ставки должны делаться наобум. Поэтому он ставил на футбол, лошадей и “Эмбасси Уорлд Дартс”, так как совершенно в них не разбирался. Вторым правилом было никогда не ставить на аутсайдеров, чтобы не выиграть слишком много. Явный минус в том, что вероятность выигрыша повышалась.

Однажды он поставил на соревнования по дальности плевков перед пабом в Грассмаркете, что в Эдинбурге. Он ничего не знал о плевательных заслугах соревнующихся и потому поставил на фаворита. Фаворит выиграл.

За два года игр он всегда выигрывал чуть больше, чем проигрывал, и поэтому в игре и выигрыше присутствовало какое-то безумие. Он оброс. Не раз отклонял преподавательские должности в университете, потому что не был удовлетворен недвусмысленным открытием милосердного Бога, постоянно испытывающего угрызения совести из-за несправедливой смерти матери Тео.

Поэтому Тео продолжал играть, хоть ему и недоставало более утешительных результатов изучения растительных клеток. Только в 1962 году, после совершенно неподвластного ему совпадения, он неожиданно вырвался из этого водоворота фортуны благодаря Королевскому колледжу врачей.

— Ты ведь никогда таким не был. Ну же, Тео.

— Возможно, она права.

— Ты сам это начал. Теперь ты не можешь все бросить.

— А что толку? Эмми говорит, мы убиваем людей.

— Мы никого не убили.

— Создаем у них потребность.

— Думаешь, они свободны? Мы нужны им.

— Мы создали эту нужду.

— Сигареты помогают. Ты сам слышал истории.

— Жалкая замена настоящей помощи.

— Настоящей помощи не существует.

— Мы создаем у них зависимость.

— Мы больше зависим от воды.

— Что?

— Благодаря ей мы живем.

— Мы раньше умираем.

— Испытывая при этом удовлетворение.

— Страдают дети.

— Меньше, чем когда их бьют.

— Это не связано.

— Связано — беспричинным бешенством родителей, жаждущих покурить.

— Ладно, хорошо. И все же это опасно.

— Это ведь не наркотики, Тео. От этого не рушатся дома.

— Зато возрастает опасность пожара.

— Это всего лишь одна безумная женщина со своими дружками.

— Она не безумна.

— Они все одинаковы.

— Просто замужняя.

— Ненавидят одного курильщика, а валят на всех остальных. Нам надо только продолжать,

пока она не отступится и не оставит нас в покое.

— Думаешь, она меня ненавидит?

— Откуда мне знать? Она ненормальная.

— Ты видел, как она размахивает плакатом? Восхитительно.

— Перестань себя мучить. Слушай, давай покурим, пока Бананас не изодрал диван. *Тео.*

— Прости. Что?

— Давай покурим, ладно?

— Я пытаюсь снизить дозу.

— Пытаешься сделать *что*?

— Говорят, иногда сигареты заменяют влечение.

— Последняя просьба, солдат.

Я виню себя. Пожалев его, я сам об этом *попросил.*

1916 год и т. д. Офицер достает из верхнего левого кармана своего мундира серебряный портсигар, а затем спрашивает Уолтера насчет последней просьбы. Уолтер молчит.

— Говори, солдат. Хочешь сигарету или нет?

— Я не курю, — говорит Уолтер.

— Я не курю, *сэр.*

— Я не курю, *сэр.*

— Разумеется, ты куришь. Тебя вот-вот расстреляют. Бери.

Не лучшее время говорить, что Уолтер не курит, поскольку это вредно для здоровья, поэтому он взял у офицера сигарету и сжал ее губами. Затем офицер достал серебряную зажигалку и чиркнул колесиком. Бензин кончился.

— Проклятье, — сказал он.

Он спросил снабженцев, нет ли у них спичек, и, к сожалению, таковые сыскались. Офицер взял коробок у кондитера, тут же занявшего свое место в строю с ружьем наизготовку.

— Эти спички отсырели, — сказал офицер. — Где они были?

— В окопе, сэр.

Офицер зажег спичку, чтобы проверить, горят ли они вообще. Отшвырнул первую спичку и вернулся к Уолтеру. Зажег вторую и поднес к сигарете Уолтера, как раз когда тот выдохнул, тренируясь курить. Спичка погасла.

— Простите, — сказал Уолтер.

— Простите, *сэр.*

— Простите, *сэр.*

Офицер зажег третью спичку, и его застрелил немецкий снайпер.

— Можно мне посидеть на твоем пуфике?

— Нет, мам, пожалуйста.

— Я никогда раньше не сидела на пуфике. Низ-

ковато.

— *Мам.*

— А вообще-то удобно. Надо наклониться? Или откинуться?

— *Не* сиди на моем пуфике.

— Я только *пробую.* Помоги мне встать.

Она подобрала и сложила кое-какую одежду.

Подошла к постели и села на краешке позади меня. Взяла книгу с ночного столика и посмотрела на тающие часы на обложке. Потом медленно, словно протягивая руку, чтобы схватить живое существо, достала сигарету Джулиана из открытого пенала фирмы “Хеликс”. Укоряюще воздела руку:

— Грегори.

— Мам.

— Что *это* такое?

— Мам, ты знаешь, что это такое. Это сигарета.

— А что она делает в твоей комнате?

— Она моя. И это всего лишь сигарета.

Я забрал у нее сигарету и сунул обратно в пенал. Мама сказала, что она меня не понимает, и я почувствовал, что она изо всех сил старается быть всепонимающей.

— Сперва сигареты, — сказала она, — а потом *Нью-Йорк.* Все дело в девушке?

Я не ответил.

— Знаешь, ты ведь можешь поработать в магазине.

Ее рука с материнским коварством обняла мои плечи, меж тем как мать терпеливо объясняла мне, что на улицах Нью-Йорка каждый день застреливают приезжих идеалистов — в основном реалисты. Она также напомнила мне, что я всецело принадлежу к среднему классу и потому совершенно ничего не умею. Я должен помнить, кто я такой: Грегори Симпсон, сын мистера и миссис Симпсон, торговцев табачной продукцией.

— Я не хочу работать в магазине, — сказал я.

— Я попрошу отца.

— Я не хочу работать в магазине.

— А *чего* ты хочешь? Чего ты в жизни действительно хочешь?

— Не знаю.

— Чего бы ты ни хотел, — сказала она, — тебе этого не получить. В том виде, в каком ты этого хочешь. Ты ведь это понимаешь?

Она чуть сжала мое плечо.

— Чего-то вечно не хватает, всегда есть какая-то неудовлетворенность, это у всех так. Работа у отца — далеко не худшее.

— А что думает папа?

— Что он наркоторговец.

— Это же табачный магазин. Я наверняка закурю.

— Как будто ты этого еще не сделал, — сказала она, многозначительно глянув на пенал фирмы “Хеликс”. — Сигареты не помогут, Грегори.

— Я не курю, мам, — сказал я. — Я ведь обещал, помнишь?

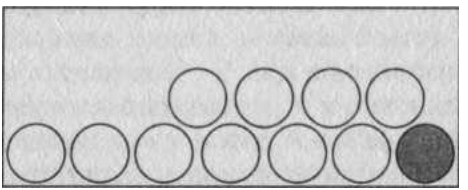
По-моему, я ее не вполне убедил.

— Это сентиментальная сигарета, — сказал я.

Она крепко обняла меня, притиснув мое горло к своему плечу.

— Я люблю тебя, Грегори, — сказала она. — Не забывай, что я очень тебя люблю.

День 10



— Окружен стеной.

— Звучит недурно, — сказал Тео.

— Ты, поди, спятил, — сказал Уолтер.

Мы сидели в № 47 под конец очередного благотворительного вечера, и я описывал свой вожделенный дом у моста. Я все еще пробегал мимо него дважды в неделю по пути в Центр исследований, и он, как ни странно, все еще пустовал.

Он был плоский и квадратный, сложенный из обшарпанных оранжевых кирпичей, похожих на сигаретные фильтры. Фасад ровный, без всякого орнамента, из-за этого дом походил на хозяйственную постройку, скромную, лишенную самого дома.

Я могу его купить, если захочу. Если мне выплатят задаток за следующий год, я легко могу его себе позволить. На худой конец, я могу получить топографический отчет, хотя Тео умолял меня жить с ним в квартире.

— Тео?

— Там привидения, — сказал Уолтер. — Вот почему его никак не продадут.

— Тео, ты что думаешь?

— Тут все знают, — добавил Уолтер, — что два предыдущих дома стояли ровно на том же самом месте.

Я хотел, чтобы Тео сказал что-нибудь, что угодно, но Уолтер уже разразился описанием первого дома, серого сооружения с высокими шпилями и черепичной крышей, потемневшей от дождя. В сумерки из зарешеченных окон с писком сломя голову разлетались летучие мыши-вампиры, жаждавшие крови.

(Все это, за вычетом летучих мышей, я знал. В топографическом отчете ясно говорилось, что все три дома воздвигались на одном и том же фундаменте, из-за чего нынешнее кирпичное строение стало прочнее. Два предыдущих здания по несчастливому совпадению сгорели при пожаре.)

— Это сделал старик, — сказал Уолтер.

— Какой старик?

— Безумный профессор-поджигатель. Он курил опиум, как китаец, и у него от этого съехала крыша. Тогда он подпалил свой дом.

— Виновато электричество.

— А когда построили второй, он вернулся привидением и спалил его тоже. Вот почему никто не осмеливается этот дом купить. Потому что кто знает, вдруг привидение там до сих пор сидит?

(В топографическом отчете недвусмысленно значилось, что никто не покупал дом из-за того, что его задняя часть, выходившая на овраг, сильно отсырела. Поджечь его не проще, чем мокрую губку.)

— Спасибо, Уолтер, — сказал я. — Это весьма интересно и познавательно.

— Звучит недурно, — сказал Тео, рассеянно стряхивая сигаретный пепел на штанину и прислушиваясь к голосу Эмми в коридоре: эгоистичная любовная страсть начисто вытеснила его здравомыслие и чуткость к друзьям и соседу по квартире.

— Мать говорит, ты хочешь работать в магазине.

— Я не хочу работать в магазине.

— С чего бы тебе хотеть работать в магазине?

— Я не хочу работать в магазине.

— Только через мой труп.

Он сказал, что, поскольку не выдал мне денег дяди Грегори, я их сэкономлю, оставаясь дома. А что насчет моего университетского образования?

— Ты никогда не учился в университете, — сказал я.

— Вот именно. Думаешь, я *хотел* торговать табачной продукцией?

Или же, в качестве замены образованию, существовали страны, полные удовольствий куда более изощренных, чем те, что предлагались сетью провинциальных английских лавок, торгующих периодическими изданиями. Он сказал, что мне не обязательно заниматься этим всю жизнь, и был прав. Есть ведь еще Нью-Йорк и прекрасные женщины, умоляющие спасти их из горящих зданий.

Но есть ведь еще и гложущая подозрительность, нагнетаемая моей матерью, что матери всегда правы и мне надо определиться со своей жизнью сейчас, пока я в состоянии. Возможно, моя судьба заключается не в прекрасных женщинах, а в том, чтобы управлять сетью табачных

магазинов Симпсонов.

Я спросил папу, как он считает, Нью-Йорк — действительно хорошая затея?

— Не знаю, — сказал он. — Это ведь твое решение.

— Но ты думаешь, это правильное решение?

— Откуда мне знать? Это твоя жизнь, Грегори, вот и думай сам. Инструкций же не существует.

Мы ждем черного такси. На Уолтере черная фетровая шляпа. Он склоняется в кресле, скрестив руки на набалдашнике своей палки и опустив подбородок на руки. Я спрашиваю, стоит ли мне надеть шляпу.

— Оставь меня в покое.

— Я просто спросил.

— Сиди себе да пиши.

С тех пор, как я бросил курить, я не выходил из дому. Из-за этого я нервничаю, от этого мне хочется курить, поэтому я следую совету Уолтера и пытаюсь подавить знакомую тягу к “Кармен” писательством, желая, чтобы кровь моя побыстрее приучилась к чистому органическому существованию.

— Я действительно не хочу идти.

— Я обещал миссис Кинг.

Уолтер смотрит непонятно куда, мрачно вспо-

миная все истории, которые пережил и придумал с Хамфри Кингом, удивляясь, почему все они заканчиваются одинаково: смертью Хамфри Кинга. Из-за этого истории скучны и неинтересны, предсказуемы с самого начала.

Хамфри Кинга похоронят в земле, а не сожгут в печи, как Тео. Придет почти весь Клуб самоубийц. Мы будем петь гимны и тихо шаркать в погребальных костюмах. Во время службы у одного из нас перехватит горло и придется изображать кашель, а памятной речи Джонси Пола придется перекрывать спорадические приступы заразного кашля курильщиков. Потом, под бледным солнышком на кладбище, кто-нибудь припомнит иронический дух Клуба и, пытаясь разрядить обстановку, скажет, что его унес не кашель, его унесли в гробу. Как смешно.

— Учти, я сразу пойду домой.

Уолтер и все остальные отправятся к миссис Кинг, чтобы отведать бутербродов и произвести ритуальные оценки, сколько еще каждому из них осталось.

— А Гемоглобин?

— С ним все будет в порядке.

На похоронах Тео я выкурил тридцать семь сигарет, одну за другой, и старался, чтобы Карр

это видел.

1 марта 1962 года, в Пепельную среду, Королевский колледж врачей опубликовал первый отчет о курении и здоровье. Первый десятитысячный тираж разошелся, равно как и двадцатитысячный, отосланный в Америку для распространения Раковым обществом Соединенных Штатов. Отчет получил широкую известность, и в 1963 году продажи сигарет в Англии упали на 14,5 %.

Колледж указал, что, по сравнению с 250 в 1920 году, в 1960-м от рака легких умерло 10 000 человек. Обширные исследования в среде бывших английских военных обнаружили, что у человека, выкуривающего по 20 сигарет в день, риск умереть от рака легких в 14 раз выше, чем у некурящего. Примерно 3 из 10 курильщиков умирали от болезней, связанных с курением.

Производители не замедлили с ответом. Пока что не выявили никакой причинно-следственной связи между курением и раком, так что приведенные в отчете результаты — лишь извлечение из статистики. Они не многим весомее математического ожидания в колесе рулетки. Увеличение количества случаев рака легких можно объяснить улучшением диагностических методов. На исследования в среде бывших военных никак

нельзя положиться, потому что они не случайны: возможно, бывшие военные чаще заболевают раком легких по совершенно иным причинам. Вопрос лишь в том, как представить данные: даже если верить ККВ, 70 % курильщиков обладали отменным здоровьем. Утверждать обратное значило отказывать английским налогоплательщикам в гражданском праве наслаждаться приятным и совершенно законным досугом.

ККВ не мог объяснить, почему некоторые курильщики больше других подвержены заболеванию. Вполне возможно — даже после открытий, сделанных Королевским колледжем, — что курильщик может пятьдесят лет выкуривать по три пачки в день и при этом не сократить свою жизнь ни на день из-за болезней, связанных с курением. А может в муках умереть от рака легких еще до сорока лет.

Короче, та еще игра.

— Я никогда не носил твой идиотский радужный свитер, и никогда не собирал этот паззл, и я *ненавижу* большие мясные пироги Лилли.

— А почему тогда все время их ешь?

Да потому что я так и не выучил других плясок, но я не собирался ему об этом говорить. Я просто смотрел, как он швыряет сигаретные блоки в

нейлоновые хозяйственные сумки и одновременно вызывает такси, стараясь не наступить на Гемоглобина. Он суетился, только чтобы уязвить меня, потому что я отказался ехать с ним в трущобы. Я сказал:

— Я нехорошо себя чувствую.

— Чепуха.

— Правда. Думаю, это что-то в груди.

— Так сходи к врачу.

— Тео, прошу тебя.

Я пошел за ним в ванную, где он смотрелся в зеркало, — вот это я действительно ненавидел. Он никогда ничего не поправлял, например волосы. Я думаю, он просто удостоверялся, что похож на себя. С закрытым ртом он осмотрел свое лицо под всеми мыслимыми углами, изредка поглаживая вертикальный шрамик на верхней губе.

— Прекрасно, — сказал я, но сарказм не слишком мне удался.

— Я думал, ты заболел.

— Я врал.

— Ну и зря.

— Ты ведь знаешь, все курильщики врут. Готов поспорить, Эмми Гастон никогда не врет.

— Грегори, дай пройти.

Я пошел за ним в спальню, где он взял с кро-

вати свое коричневое пальто, а затем обратно в гостиную. Я посмотрел сзади, как он пытается влезть в пальто, закурил “Кармен” и сказал, что съезжаю. Теперь ему *придется* уделить мне капельку внимания.

— Куда-нибудь, — сказал я, — куда угодно. В другое место. Подальше отсюда.

С улицы просигналило такси. Он ничего не ответил, подошел к нейлоновым сумкам и уложил сигаретные блоки так, чтобы они не торчали. Я сказал:

— Я же не могу все время сидеть на одном месте, а? Человек ведь должен переезжать?

— Ты не съедешь, — сказал он, взяв по сумке в каждую руку.

— Съеду.

— Нет.

— Давай бросим монету, — сказал я, но он даже не рассмеялся.

— Ты точно не поедешь в трущобы?

— Ты ее любишь?

— Не хочу опаздывать, — сказал он, протискиваясь мимо меня.

Я посмотрел, как закрывается дверь. Такси все сигналило. Гемоглобин принюхивался к моей руке. Бананас выискивал пепельницу. Всем нам

надо что-то делать, когда мы чувствуем себя потерянными, одинокими и брошенными. Всем надо чем-нибудь себя занимать.

На моих похоронах, где-то далеко в следующем столетии, мало кто из скорбящих будет помнить, что сигареты были не просто забавным артефактом прошлого тысячелетия.

Собор запружен священниками, они по очереди отдают дань уважения моему гробу из прекрасно отполированного ясеня. Мы уже больше чем на полпути к 2100 году, и последние десять лет или около того меня торжественно считают посланником двадцатого века. Дети не перестают донимать меня вопросами насчет пишущих машинок, сковородок и устройств, работающих на бензине. Они хотят знать, больно ли втягивать ядовитый сигаретный дым, и я говорю, что нет, совсем нет, но никто из них не верит мне до конца. Они втихомолку заключают, что люди в те далекие времена были менее цивилизованны, а потому более выносливы, и я недалек от мысли, что, возможно, так оно и есть на самом деле.

В менее радужной версии моих похорон я нахожусь в возрасте дяди Грегори, а то и моложе, и двадцатый век еще прекрасно помнят. У могилы нет близких друзей, а по работе у меня не было

коллег. Мать черным платком утирает слезы. Парочка весенних прохожих в стильных плащах останавливается поглазеть, порицая про себя глупость курильщиков. Они наматывают на ус эту сценку в качестве морального урока своим детям, а потом принимаются гадать, не пойдет ли дождь.

А я — я думаю, будет ли там Джулиан Карр, случись это сегодня, или через пятнадцать лет, или через пятьдесят. Я осматриваю ногти, раздумывая, какой бы лучше начать грызть.

Для начала он купил себе двадцать “Консулат”. Затем согласился занять высокую должность в Центре исследований табака в Англии, которую ему предложили за блестящую докторскую диссертацию. Снял квартиру над турецким ресторанчиком Сэмсона, который позднее превратился в закусочную Лилли, и быстро погрузился в рутину нового жилья и новой работы. По сравнению с молекулярной биологией научиться курить — плевое дело.

Постепенно он начал ставить свое курение против добрых поступков. Таково было, если можно так выразиться, его виноватое лицемерие. Он вступал в благотворительные общества, спасал брошенных животных и раздавал ду-

шеспасительные сигареты людям, которые не могли себе их позволить. Он считал доброту продолжением вызова Провидению — мол, давай, повергни хорошего человека, — развитием игры в существование материного Бога. Он словно пытался создать из непознанного достойного соперника, постепенно повышал ставки, чтобы оно открылось.

Тео редко говорил о своем прошлом, и будь я больше занят, возможно, никогда не сложил бы по кусочкам его историю. Гибкость рабочих часов свидетельствовала, что его исследования в институте никак не контролируются, — вплоть до того, что он может приходить, когда ему вздумается. Я не представлял, сколько ему платили, но квартира с двумя спальнями над закусочной Лилли — прямой результат его привычки покупать больше четырех тысяч сигарет в неделю.

Время от времени он до сих пор играл — необъявленная проверка Божьего раскаяния. Он играл в “угадай мяч” или закачивал деньги в игральный автомат в “Тупике незнакомцев”, пока мы не выигрывали достаточно мелочи, чтобы сыграть в пинбол. Как-то он сказал мне, что выиграл Гемоглобина в импровизированной игре в “очко” в Бросли, что в Шропшире, но я не знаю, правда

ли это.

Он наверняка выиграл бы Национальную лотерею, если бы его удача не приказала долго жить.

Понедельник, утро.

Я одет в новехонькую, немного жестковатую белую рубаху с короткими рукавами и оранжевый галстук. На галстуке по диагонали вьются золотые эмблемки отцовской фирмы. Кроме того, на мне серые брюки и начищенные черные ботинки, которые я в последний раз надевал на экзамены. Я споласкиваю кофейную чашку (“Я люблю Симпсонов”) и целую мать в щеку.

— Я горжусь тобой, — говорит она. — Нью-Йорк был глупой затеей.

— Донельзя незрелой. Спасибо, мам.

Отец уже ушел, в столь паршивом настроении, что дважды грохнул дверью. Но я не могу из-за этого беспокоиться, потому что сейчас утро понедельника и мой первый рабочий день в качестве помощника в ~~“Симпсон, торговля табачной продукцией и периодическими изданиями (осн. в 1903 г.)”~~, отделение на Хай-стрит. Сегодня начинается моя судьба, свободная от мучительных решений. Моя жизнь станет набором вагончиков с расписанием и ясным представлением о пункте назначения, без всякой нужды трепыхаться. Се-

годняшним утром — как и любым другим, пока не стану районным управляющим, — я отправлюсь в магазин. Затем куплю машину. До того, как унаследовать отцовскую должность главного управляющего и стать торговцем табачной продукцией мистером Симпсоном, я обручусь с немного пухлой, но всегда пунктуальной девушкой, которая с радостью родит мне сына по имени Грегори.

Я открываю входную дверь и глубоко вдыхаю свежий весенний воздух. Слабый лучик света выхватывает меня из темноты, и я улыбаюсь залитой солнцем лужайке и цветущему орешнику. Соседка-адвентистка в очаровательном зеленом халате забирает молоко с крыльца. Я поворачиваюсь к ней и говорю через забор:

— Доброе утро, прекрасное утро, доброе *вам* утро.

Я умышленно выбираю тихую дорогу, помахиваю руками и на ходу залихватски похлопываю по фонарным столбам. Весело следую за спаниелем с коричневой головой, что гуляет сам по себе, с жадностью и любопытством обнюхивая всякие интересные какашки на тротуаре. Миную садики, заросшие нарциссами. На Хай-стрит обгоняю негра и спрашиваю себя, почему у людей

в холодных местах не вьются волосы. Я, конечно, имею в виду страны. Спрашиваю себя, от чего вообще вьются волосы. Поворачиваю голову вслед красивой девушке с тонкими щиколотками, и меня обгоняет спаниель, он возвращается домой, за ним идет полный мужчина, которого, наверное, специально откармливали на убой. В кулаке он прячет сигарету, но, думаю, я могу смело не обращать на это внимания.

Все идут по делам, прямо как я, и я полностью удовлетворен, потому что успешно подавил все без исключения свои желания. Ничуть не удивительно, что к обеду я буду тащиться домой, опустив голову, волоча ноги и не отрывая взгляд от ботинок.

Джонси Пол и старый Бен Брэдли. Доктор Хеккет, Марлоу и Уиттингем, Дрейк и миссис Дрейк. Поляк Ян Пето, Рассел, Галлахер и моряк Ланди Фут, сидящий на всех разрешенных веществах за исключением спиртного и табака. Он раздает последнюю разновидность женьшеня. Все они в то или иное время были постоянными или временными членами Клуба самоубийц, поэтому где-то на середине похоронной службы всеобщее беспокойство неизбежно. Я смотрю, как они пытаются чем-нибудь занять руки.

Потом, когда мы вышли наружу, зажигалки защелкали, подобно насекомым, и последовала групповая затяжка табачным дымом, словно прямая противоположность вздоху. Этот звук — знак приближающегося удовлетворения, что каждый раз наступает через семь секунд. Ланди Фут глотает несколько таблеток санатогена, а я сую руки в карманы.

— Мне никто не сказал, что это рак легких, — говорит Дрейк, а Джонси Пол отвечает, что ничего такого и не было.

— Было-было, — говорит Ланди Фут, жуя резинку.

— Он не курил пятнадцать лет, — говорит доктор Хеккет.

Уолтер говорит:

— Это вообще не связано с курением.

Все соглашаются, что так оно, наверное, и есть, тем более что за годы участия в североафриканской кампании Хамфри вдохнул немало раздражающих и наверняка смертельных песчинок. Затем Джонси Пол и Ланди Фут некоторое время на два голоса вещают, что в наше время легочному здоровью всех и вся угрожает множество страшных опасностей в виде радона, летучих органических и неорганических веществ (со стен

и потолочных покрытий), бетонной сырости, озона, излучаемого электрическими устройствами (особенно компьютерами и принтерами), теплового излучения, влажности, статического электричества, бактерий, плесени, спор, домашней пыли, клещей и их испражнений, а также не поддающихся исчислению других людей и их беспрестанно шелушащейся кожи.

Воздух настолько загрязнен, сказал Джонси Пол, что он вообще удивляется, как это люди удосуживаются дышать. Что, не так, спросил он меня.

— Конечно, — говорю я, — он мог умереть от чего угодно.

Старый Бен Брэдли говорит:

— Он мог умереть от старости.

Наступает минутное молчание, потом все качают головами.

— Нет, — говорит Уолтер. — Это точно легкие.

Именно тогда — или, возможно, чуть позже — я заметил Джулиана Карра. Он стоял в некотором отдалении, у входа на кладбище, руки в брюки, прислонившись к одинокому дереву, словно отвергнутый тайный воздыхатель.

За моей спиной овраг. Я въехал в переднюю часть дома. У меня не было занавесок. Не было

стульев и столов. Не было гнезда для телеантенны, но это ерунда, потому что у меня не было телевизора. Я жил в самой большой комнате дома, на первом этаже, в окружении только тех вещей, что имел.

Из телефонной будки я позвонил домой, чтобы мне прислали пуфик. Мама отослала пуфик и спросила: раз — все ли я еще курю, два — есть ли у меня девушка, и три — не надо ли мне чего-нибудь еще.

— Нет, все в порядке, — сказал я, а потом мне оказалось некуда девать книжки по истории, разве что складывать на пол. Я купил электроплитку и несколько ковриков, чтобы заглушить скрип досок в полу. Купил обогреватель, сидел на ковриках перед камином, прислушивался к звукам с улицы, читал книжки по истории и порой смеялся вслух, пугая себя эхом. Купил холодильник с морозилкой и набил его замороженными продуктами.

Я часто разговаривал с Бананасом. Он был прекрасным слушателем, пока где-нибудь поблизости имелась пепельница, и я уверял его, что Лилли присмотрит за Тео, бедным стариком, старым безумным ученым. Он не захиреет без друзей в полном одиночестве. Затем я познакомил Бана-

наса с пуфиком, и с тех пор пуфик принадлежал исключительно ему. Мы ни капельки не скучали по Гемоглобину.

Я сидел на полу, смотрел, как дым витками поднимается к потолку, прислушивался к скрипу дома и раздумывал, как отличить дребезжание оконной рамы от хохотка привидения, в которое я не верил. Первые несколько недель я выкуривал все сигареты еще до сумерек и вечерами разогревал замороженные пирожки.

За прилавком меня видно от пояса и выше: белая рубаха, оранжевый галстук и счастливая физиономия на ровном фоне сигаретных пачек.

“Честерфилд”, “Кэмел”, “Кент”. “Штювезанд” (для мировых спортивных мероприятий), “Филип Моррис”, “Джон Плэйер Спешл” (всех видов). “Лаки Страйк”. “Бьюкэнен Сенчури”, “Мор”, “Раффлз”, “Ричмонд Стрейт Кат”, “Роялз 25”, потому что неплохо иногда попробовать чего-нибудь новенького. “Стэйт Экспресс”, и “Салливан № 1”, и “Салем Лайт”, и пурпурные, синие, красные и зеленые “Силк Кат”. “Лэмберт-энд-Батлер”, если больше ничего нет. “Ротманз” (пилоты авиалиний), “Уинстон” (США) и “Бенсон-энд-Хеджес” после завтрака. “555” (555 чего?). “Кармен № 6” и “Эмбасси № 1”, “Эмбасси Ригал”, “Эмбасси Экстра

Майлд", "Эмбасси Экстра Экстра Майлд" (в зависимости от ее настроения и возраста). "Вирджиния Слимз". "Дю Морье" в театре "Санкт-Мориц", пока "Собрание" пьет "Коктейль" с "Черным Русским Наместником". Возможно. "Фортуна" (испанские пляжи и мадридские кафе). "Капорал" и темно-синие пачки философических "Житан". "Кул" или "Крэйвен" на "Пиккадилли" или в "Мэйфэр". В "Каниф-клаб" со всем "Английским ВМС". "Трипл-А". И наконец, чтобы увенчать вечер с очередной любовницей, непревзойденные ментоловые "Консулат".

Словно вокруг столпились планы Люси на будущее. Словно видение бесконечных, но исчисляемых дней без нее, когда сигареты измеряются двадцатками, и я боюсь каждой из них, потому что "курение смертельно опасно", и "курение во время беременности вредит вашему ребенку", и "курение вредит вашему здоровью", и это, конечно, правда, потому что на каждой пачке написано.

Я схватил пачку, любую пачку. Это оказалась мягкая пачка "Голуаз", и я попытался пробуравить ее взглядом. Открылась дверь, я запихал пачку поглубже в карман и отпустил совершенно незнакомому человеку сорок "Мальборо" в обмен

на деньги. Пачку ему и пачку Люси (не раскисай, парень). Все произошло так быстро, что он даже не достал зажженную сигарету изо рта и оставил за собой дым и запах Люси Хинтон.

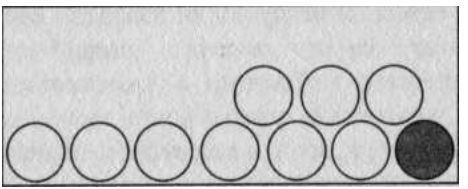
Вошел еще кто-то. “Индепендент”; 20, 40, 60 “Бенсон-энд-Хеджес”, и 20 пенсов сдачи, и “благодарю вас, мадам, вы очень добры”, и “не забывайте, что ‘курение — причина заболеваний сердца’”. Сквозь целлофан и бумагу я чувствовал округлость каждой сигареты — они были словно патроны.

“В кругу семьи”, “Сникерс”, одну “Гамлет”.

Я попытался напомнить себе, что работа — лишь передышка: просто деньги и умножение на двадцать день за днем. Но откуда тогда ощущение, будто меня заткнули в рот Люси Хинтон?

В обеденный перерыв я запер магазин и отправился в экскурсионное бюро. В поисках чековой книжки я достал из кармана “Голуаз”, и, поскольку я все еще помнил, как беспокоится мать, поскольку на моей чековой книжке было всего пятьдесят фунтов, поскольку экскурсионное бюро вот-вот закрывалось на обед и еще по нескольким важным причинам вроде этих (и каждая могла быть терпеливым и определяющим фактором моей судьбы) я купил билет на поезд до Парижа.

День 11



Парацельс родился в том же году, когда Христофор Колумб вернулся из Америки на потрепанной “Санта-Марии” с вестью, что все европейские представления о географии ошибочны. Многие наиболее продвинутые мыслители того времени начали ставить под вопрос другие отрасли знаний, бросая тень сомнения практически на все, что ранее считалось достоверным. Как врач и алхимик, Парацельс унаследовал этот радикализм.

Его незыблемая вера в то, что основа всякого зарождения — деление, привела его к улучшению тогдашних методов перегонки. Тем не менее он всегда был готов расширить область своих познаний в поисках фармацевтического эквивалента философского камня. Поэтому прекрасное знание

химии уживалось в нем с восхищением пред ритуальными заклинаниями и священными реликвиями, и это передовое приятие концепции чрезмерности означало, что он нередко противоречил себе. Это, в свою очередь, делало его уязвимым для критических нападок. Известно, что его студенты называли его Какофрастом, а ревнивые коллеги нашептывали друг дружке, что он подписал завидный договор с дьяволом.

Во многом это противостояние объяснимо. Например, Парацельс первым из европейцев предположил, что “болезнь рудокопов” (ныне известная как силикоз) вызывается вдыханием металлических паров, а не горными демонами, насылающими эту болезнь в наказание за грехи, как считалось ранее. Тем не менее именно Парацельс ввел в европейский обиход слово “гном” для обозначения карликовых гоблинов, стороживших подземные запасы сокровищ. Он верил в Гоба, короля гоблинов, чей волшебный меч повлиял на меланхолический темперамент человека, хотя Парацельс же основательно пересмотрел оставшуюся еще с Ренессанса теорию соков, включив в нее пугающее тогда понятие кровообращения.

Как все великие новаторы, он готов был изу-

чать последствия невероятного. Поэтому чуднее любых рассказов о гоблинах были для Парацельса дикие вести из Америки. В том числе отчеты свидетелей о потаенных городах, целиком построенных из золота, и мрачных печальноглазых местных жителях, глотавших огонь так же легко, как прохладную воду.

Деньги дяди Грегори изменили меня. Мне стало нравиться, что одежда, книги и то, что я ел, говорили сами за себя. Я купил черный кожаный пиджак, ботинки на толстой подошве и толстые книжки по истории. Ел в ресторанчиках, где меню написано на грифельной доске, и пил вино из кувшинчиков. С чем-то похожим на восторг открыл, что я — не просто Грегори Симпсон, сын торговцев табачной продукцией; я свободен.

Поначалу, все еще числясь в АМХ, я иногда ходил в картинные галереи. Рассматривал снимки Брассая и Лартига и неопубликованные рукописи Раймона Кено. В Оранжери видел кинетическую установку из голубой стали Жан-Пьера Риве. Перед центром Помпиду у алжирского фокусника в голых руках исчезали зажженные сигареты, а за десять франков я купил билетик, на котором было напечатано, что до 2000 года осталось еще 512 019 580 секунд. Помню выставку фирмы “Сеи-

та” под названием “Современные пепельницы”, где я расписался в книге посетителей как Грегуар Симпсон, а поскольку книга была напечатана и переплетена в Тонон-ле-Бэн, я указал это в качестве своего адреса. Я мог быть кем угодно и откуда угодно.

Мне хотелось быть человеком, который всегда куда-нибудь идет или откуда-нибудь возвращается. Я не хотел повторения тех безликих вечеров, что я провел дома, валяясь на кровати и думая, что достаточно лишь дышать. С тех пор я понял, что ежедневный подъем по утрам не назовешь достижением, поэтому в Париже задался целью найти себе жилье. После этого я намеревался подыскать работу на неполный рабочий день, чтобы не сидеть без дела, после чего я буду отлично подготовлен, чтобы отыскать прекрасную женщину, готовую меня полюбить.

Все это казалось настолько простым и легким — вряд ли даже Люси с Джулианом поспорили бы против этого.

Думаю, они изменили состав, не сообщив мне, потому что теперь я выкуривал по две-три “Кармен” подряд, и все они оказывались либо безвкусными, либо затхлыми, либо смахивали на сильно облегченные. Они уже не приносили

былого удовлетворения, и я выкуривал еще одну в надежде, что она или еще одна будет другой. Я осмотрел пачку, но двойные кастаньеты не изменились, черные на белом фоне, да и содержание смолы и никотина то же, равно как и обещание, что именно эта пачка убьет меня, как и любая другая.

Я вышел на улицу покурить — может, свежий воздух подчеркнет вкус, — и вот тогда-то я его и обнаружил: он лежал на животе, спрятав голову за деревом. Уже смеркалось. Я позвал его, но он не ответил.

— Ну же, Джейми, хватит там копошиться.

Он вылез из-за дерева.

— Я думал, ты меня не заметишь, — разочарованно сказал он, но, когда я пригласил его в дом, опять расцвел. Мне пришлось усадить его на пол, потому что пуфик занял Бананас, насторожившийся, когда Джейми посетовал на отсутствие мебели.

— Да, очень хорошо, Джейми. А теперь скажи мне, зачем ты прятался в моем саду.

— Я пришел посмотреть на привидение. Классный телик. Новый?

— Не трогай. На какое привидение?

— Сам знаешь, на *привидение.*

Он, конечно, имел в виду безумного профессора-вампира-поджигателя, которого столь живописно обрисовал Уолтер.

— Поджигатель, — гордо сказал Джейми, — это человек, который нарочно поджигает дома. Уолтер говорит, поэтому к тебе гости и не ходят. А летучие мыши правда спят вверх тормашками?

— Прямо так и говорит?

— И поэтому никто не купил этот дом, только ты.

— Да, спят. То есть вверх тормашками, полагаю.

— Но ты все равно не испугался, да?

— О нет, — сказал я. — Ни капельки.

— А коты едят летучих мышей?

Джейми попеременно смотрел то на Бананаса, то на тлеющий кончик моей сигареты, будто привидение в любой миг могло выхватить ее из моих пальцев и ткнуть прямо в середину пуфика. Я не стал говорить, что пуфик не воспламеняется. Вместо этого я как бы между делом спросил о Тео:

— Он все ездит в трущобы?

— Иногда, — сказал Джейми. — Покажешь мне привидение?

— А люди все поют и кричат под дверью?

— Из ЛЕГКОЕ? Конечно, — сказал Джейми. — А

оно вообще *разговаривает*?

— А как там неукротимая глазастая дама? Тео про нее говорит?

— Возможно, — сказал Джейми, внезапно оживившись, — покажи мне привидение, тогда скажу.

— Нет никакого привидения, — сказал я.

— Тогда гони сигарету.

Я докажу, что сейчас я намного разумнее, чем несколько дней назад.

Уолтер не пришел.

Впрочем, не думаю, что он взял тут мне и умер. У меня нет и малейшего желания его убивать. Этот идиотизм — изобретение ударов судьбы, дабы оправдать курение — я уже перерос, и заслуга в этом, если таковая имеется и так далее, принадлежит, я полагаю, мне. Мое намерение было твердым. Сила моего характера стала открытием, не в последнюю очередь для меня самого. То, что физическая зависимость от никотина пропадает через два дня, — маленькая незначительная подробность.

Что до боли в легких, то я ее уже почти не замечаю, так что ничего удивительного, если вскоре несколько членов Клуба самоубийц тайком отзовут меня в сторонку и поинтересуются секретом

моего успеха. Я скажу им, что, возможно, этому поспособствовало выбрасывание всех пепельниц и одноразовых зажигалок фирмы “Бик”. И хотя, возможно, одиночество тоже помогло, вопрос лишь в характере и твердом желании разума воссоединиться с телом без привычной помощи никотина.

Это правда, что желание закурить возникает у меня вдвое реже, чем раньше. Неделю назад мне приходилось подавлять эту тягу писательством по меньшей мере раз в час, но теперь мое внимание не рассеивается значительно дольше. Например, на нижних ветвях растения на столе вылезают тугие зеленые почки. Они похожи на маленькие зеленые сосновые шишечки.

А, еще позвонила мама. Она спросила, как я поживаю, а я спросил, как поживает она, а она сказала, что дома все в порядке, а я сказал, что это хорошо и что я рад, что дома все в порядке. Тогда она спросила, все ли в порядке со мной.

— Твой голос… изменился. Ты меньше *вздыхаешь*.

— Со мной все в порядке, — сказал я. — В полном.

Я мог бы рассказать ей, как бросил курить. Чуть не рассказал, но потом решил, что не стоит, пока

не стоит.

Комната — 2,92 на 1,63 м, немногим более пяти квадратных метров, так что мой пуфик в нее не влез бы, даже если бы я взял его с собой. Тихий район близ реки, и влезая на стул, опираясь од ной коленкой на край раковины и выставляя голову в окошко, я видел выпуклую чашу радара на верхушке Эйфелевой башни. Из-за этого вида комната была дорогая, и к тому же маленькая, но мне было все равно, потому что у меня было десять тысяч фунтов и никаких вещей за исключением нескольких книжек, одежды и двадцати одной сигареты, вывезенных из Англии. К тому же я буду часто отсутствовать.

Я открыл, что в Париже нельзя по-настоящему затеряться. Куда бы и как бы далеко ты ни зашел, рано или поздно обязательно наткнешься на людей, снимающих то, что уже гораздо профессиональнее изображено на открытках. Количество знакомых достопримечательностей успокаивало: я чувствовал, будто нахожусь посреди того, что все уже считают важным. Париж тут же показался мне знакомым, поэтому я редко пугался, что в таком огромном городе может случиться что угодно. Меня, например, ничуть не обеспокоило, что однажды я увидел Люси Хинтон: белая

мини-юбка обтянула ее бедра, когда она наклонилась над коляской и заагукала с малышом. Она выпрямилась, чтобы закурить, и в кого-то превратилась.

Вернувшись в комнату и прислушиваясь к реву сирен большого города, я уселся на кровать и достал пачку “Голуаз”. Вспомнил магазин. Вспомнил оранжевый галстук и сорвал целлофановую упаковку. В соседней комнате кто-то выдвинул и задвинул ящик и откашлялся. Я подумал о Джулиане Карре и сигарете, которую он переворачивал вверх ногами на удачу, поэтому сорвал акцизную марку и ногтем большого пальца отогнул края фольги.

И с удивлением обнаружил, что кто-то меня опередил. Я не мог перевернуть сигарету вверх ногами на удачу, потому что кто-то уже это сделал, и сделал неправильно. Каждая сигарета перевернута вверх ногами.

Тут я вспомнил, что у “Голуаз” нет фильтра. Поэтому кверх ногами у них не бывает. Я рассмеялся и счел свою ошибку добрым предзнаменованием, сулившим невероятную удачу, помноженную на двадцать.

Все началось с “Завтрашнего мира”. Потом я стал смотреть музыкальную передачу перед

“Завтрашним миром”, потом новости дня перед музыкальной передачей, а потом местные новости перед этим. В итоге у меня выработалась привычка включать телевизор каждый вечер в шесть часов ради новостей, где часто сообщали, сколько людей по всему миру ежедневно умирают от курения. То был статистический эпос катастрофы, что постоянно обнаруживал ужас, таившийся в цифрах. Люди в костюмах пространно рассуждали о рекламе, системах фильтрации и миллионных денежных суммах. Модным стало словечко “эпидемия”. Прошел первый Национальный день борьбы с курением, но я его пропустил.

Теперь, когда бегать до Центра стало ближе, меня заставили наверстывать упущенное на гаревой беговой дорожке сразу по прибытии. Я почти не видел Тео, так что не имел особой возможности оценить, насколько одиноким и подавленным он стал с тех пор, как живет без меня. Вернувшись домой и поев, я разговаривал с Бананасом. Читал, плевал в потолок. Подумывал заняться ездой на мотоцикле, чтобы разогнать скуку.

Джейми приходил примерно раз в неделю и рассказывал о Уолтере, Тео, Эмми и трущобах.

На его рассказы нельзя было особо полагаться, потому что он легко отвлекался, но, судя по всему, Тео так и раздавал сигареты, а демонстрантов постоянно становилось все больше (хотя, конечно, их не *тысячи*, как утверждал Джейми). Шайка противников вивисекции попыталась вломиться в квартиру над закусочной Лилли, но их прогнал Гемоглобин.

— Бананас бы их *сожрал*, — сказал Джейми.

Он стал преданным поклонником Бананаса после того, как Бананас притащил из задней части дома ошалевшую мышку, погонял ее немного по коврикам, а потом оттяпал ей голову.

— Еще что-то было, — говорил Джейми, — только вот я не помню.

Я дал ему еще одну сигарету. Он сказал, что Тео сходил на проверку в больницу. Что же до результатов… Джейми заложил очередную “Кармен” за ухо.

— Понятия не имею, — сказал он. — Но там здоровский рентген. Мы его приклеили на стенку в приемной. Вышло клево.

Джейми сказал, что рентген черно-белый. Но даже за еще одну сигарету не вспомнил, имелись ли на легких черные пятнышки.

Мадам Бойярд по-английски спросила, говорю

ли я по-английски, и я по-английски сказал, что да, говорю, и колкость этого ответа обеспечила мне работу временным помощником библиотекаря в музыкальном отделе Национальной библиотеки Франции. Значит, я был прав: “Голуаз” принесли мне удачу.

Библиотекарша мадам Бойярд была невысокой женщиной с тонкими губами, плоской грудью и анемичным лицом. Носила бежевый костюм, а при разговоре придыхала на гласных, словно была на грани простуды. Она сказала, что я буду работать не больше двадцати часов в неделю, иногда меньше, и я сказал, что меня это устраивает. Есть еще один временный помощник библиотекаря, с которым мне иногда придется сотрудничать.

Работа нехитрая: мне надо переносить в компьютер библиотечный архив. Архив состоял из газетных отзывов и программок, собранных Анри Астра́ в операх Англии и Америки между 1910 и 1975 годами. Астра также завещал часть своих денег на пополнение архива, но опера Гарнье потратила деньги, отправив команду администраторов в Китай для исследования возможности устраивать фейерверки в зале.

Музыкальный отдел находился в подвале на

задах библиотеки и состоял из двух больших смежных комнат. Половину стены между ними снесли, чтобы проще было возить тележки с документами большого формата. На широком столе посреди той комнаты, что побольше, два компьютера глядели мониторами в противоположные стороны.

Мадам Бойярд прошла к столу в меньшей комнате и смотрела на меня, пока я не выбрал компьютер, отвернутый от нее. Я раскрыл папку с пометой “1940” и начал очень медленно, но старательно перепечатывать подробности первого выступления Марио дель Монако в роли Родольфо в постановке “Богемы” Неаполитанской оперой в “Ковент-Гарден”.

Время от времени я посматривал на белый горб второго монитора.

— Она американка, — сказала мадам Бойярд. — И страшная болтушка.

Скука — враг, а сигареты помогают. Это факт.

Я достаю из верхнего ящика стола конверт. Распечатываю его и высыпаю содержимое на чистый белый лист бумаги. Кусочки листа уже высохли, коричневеют и крошатся по краям. Я разминаю несколько крошек между пальцами — так, должно быть, давным-давно делала инде-

анка из племени йекуана в Венесуэле в попытках найти лекарство от скуки.

Допустим, вигвамов наберется на крохотную деревушку, расположенную на поляне широколиственных джунглей. В вигваме неподалеку коптятся на зиму дюжина полосок сушеной ламы и столько же жирных карпов. Все йекуана, за исключением одной женщины, куда-то ушли, скорее всего к реке, и одинокая индеанка открывает, что плевать в потолок, пока он не будет заплеван весь, не слишком-то интересное занятие.

Чтобы чем-нибудь заняться, она обследует ближайшие кусты, удивляясь, почему такие широкие и аппетитные листья горьки и непригодны в пищу. Она с корнем выдергивает растение, обнюхивает его, лижет, пробует на вкус, растирает, сует в огонь, и оно начинает распространять довольно приятный запах. Она крошит листья и пытается что-нибудь из них приготовить. Она экспериментирует и тем усиливает различие между собой и животными, что обитают на равнинах и в горах вокруг.

Постепенно, через долгое время, за которое она узнает, что любопытство развеивает скуку, она замечает перемены, происходящие с листом, ко-

гда тот высыхает. Она учится терпению. Учится выбирать, обрабатывать и обращать внимание на каждую мелочь, необходимую для выделки курительного табака. Как и почему ей пришла в голову мысль вдохнуть дым, остается тайной.

Меж тем у реки мужчины побеждают скуку открытием основ мостостроения. За это время они в совершенстве овладевают искусством глиняной лепки, и один из них делает трубку. Йекуана пытаются курить, и несколько человек заболевают, но эта болезнь куда предпочтительней скуки, к тому же в следующий раз листья чуть дольше провисят рядом с ламой и карпом.

Скука все еще враг, поэтому я достаю пенал фирмы “Хеликс”, выгребаю оттуда карандаши, циркули и транспортиры и заменяю их крошками высохшего листа. Затем притаскиваю с кухни обогреватель, включаю на малую мощность и ставлю на него пенал. Некоторое время смотрю на листья в пенале, думая о том, как это действие укрепило различие между мной и животными, и о прочих вещах, вроде того, сколь неизмеримо величье человека. Я, конечно, имею в виду и нынешнего себя.

— Перекур, — шепнула она.
— Прости?

— Перекур.

Поскольку она была более опытным временным помощником библиотекаря, мне пришлось пересесть за компьютер, повернутый к мадам Бойярд. Клавиша О постоянно залипала. Весь последний час я перепечатывал имена никому не известных людей, певших в забытых операх, и время от времени посматривал на Джинни Митчелл, американку и болтушку. Пока что она не сказала ни слова. У нее были короткие волосы, не совсем светлые, и интересно вылепленное лицо. Она носила очки с круглыми стеклами в темной оправе. Не то чтобы я прямо так уж пялился, но ее белая футболка была с вырезом, а джинсы обрезаны прямо над коленом. Мне понравились ее нежная шея, округлые плечи и по-американски белые зубы.

— Перекур, — повторила она, отодвигая стул. Что-то в ней было мне очень знакомо.

— Я не курю, — шепнул я в ответ.

Мадам Бойярд смотрела на нас, поэтому я опустил глаза и по ошибке ткнул в клавишу О, она залипла, и на экране появилось минимум двадцать О, пока мне не удалось подковырнуть ее ногтем. Затем я услышал, как Джинни на идеальном и очень вежливом французском сказала

мадам Бойярд, что мы хотим прерваться и выкурить по сигарете. Мадам Бойярд кивнула.

— Но только чтобы по одной, — сказала она.

Я взял пиджак и пошел за Джинни вверх по лестнице.

Позади библиотеки имелся пыльный дворик с несколькими деревьями и каменными скамейками вокруг пересохшего фонтана. Там курила и околачивалась добрая половина библиотечного персонала. Мы уселись на невысокую стенку рядом с позеленевшей статуей приземистого плотного человечка в длинном пальто, в натуральную величину. Пальто развевалось за ним, и он шел против ветра, крепко сцепив руки за спиной, словно конькобежец.

Джинни наклонилась, уперлась руками в голые коленки и пристально вгляделась в песчаный гравий. Затем протянула руку, подняла окурок и дала его мне.

— Но я правда не курю, — сказал я.

Она не ответила и опять наклонилась, пока не нашла второй окурок для себя. Взяла его самыми кончиками длинных пальцев и состроила легкую гримаску.

Я предложил ей одну из “Голуаз”, которые постоянно таскал с собой на удачу.

— Я думала, ты не куришь, — сказала она.

— Не курю.

— Странный ты.

— Бери.

— Нет, — сказала она. — Я тоже не курю. Что ты сделал со своим бычком?

— Выбросил.

— Ты что, *ничего* не понял? Просто держи его, если вдруг Бойярдиха выйдет. И не своди глаз с двери.

Примерно через то время, которое нужно, чтобы выкурить сигарету, на залитый солнцем дворик действительно вышла мадам Бойярд. Джинни тут же встала, бросила окурок и наступила на него. Затем чуть приподняла пятку и покрутила обнаженной лодыжкой в обе стороны, растерев окурок подошвой мокасина.

По пути в подвал мы прошли мимо мадам Бойярд. Она уже закурила “Кэмел” и направлялась к одной из скамеек у фонтана, а за ней стелился пышный шлейф дыма.

После шести часов я включил телевизор. Житель Дарема, когда-то игравший правым полусредним за “Стоук-сити”, возбудил дело против компании “Бритиш Американ Тобакко”, потому что на пачке сигарет, которые он начал курить в

начале шестидесятых, не содержалось никакого предупреждения. Ему было пятьдесят семь, он болел хроническим раком легких. Он выкуривал по пятнадцать сигарет в день на протяжении тридцати лет и ждал третьего — возможно, смертельного — инфаркта. Законченный неудачник.

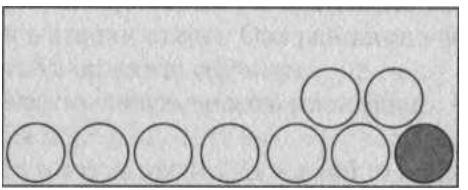
В местных новостях бал правила история о Центре исследований и Тео. Через проволочную изгородь сняли, как он идет от Центра к пруду. Казалось, он не знал о камерах: просто курил и смотрел под ноги. Затем показали репортера, который перед главными воротами брал интервью у Эмми Гастон. Было слышно, как демонстранты скандируют “Барклай, Барклай, Барклай, вон, вон, вон”, а несколько ученых в халатах стояли возле Центра исследований, украдкой поглядывая на протестующих. Я узнал шевелюру Тео. Во рту он сжимал сигарету. Затем опять показали Эмми, очень доходчиво объяснившую, что “Бьюкэнен” платит некоторым своим сотрудникам за распространение бесплатных сигарет для привлечения новых покупателей. Это позор и надо что-то делать.

В конце показали студийное интервью с представителем компании “Бьюкэнен”. Молод, одет в красивый синий двубортный костюм. Очки

в проволочной оправе. Он сказал, что начальство “Бьюкэнен” специально направило его в Лонг-Эштон, дабы показать, как серьезно относится к подобным заявлениям. Сказал, что уже начато внутреннее расследование и что любые необходимые дисциплинарные взыскания будут произведены со всей суровостью и без малейшего промедления. Нет, компания не занимается раздачей сигарет для привлечения новых покупателей. Компания “Бьюкэнен” никогда и ни при каких обстоятельствах не одобрила бы такую инициативу.

Восхитительно спокойный, внушающий доверие и повзрослевший доктор Джулиан Карр тепло поблагодарил ведущую за интервью.

День 12



Джинни Митчелл собиралась стать певицей в Национальной музыкальной академии, расположенной в здании оперы. Она работала в библиотеке, чтобы оплатить обучение.

— Ты что-нибудь знаешь про оперу?

— Да нет.

— Это очень просто. Все поют, а потом кто-нибудь умирает.

Точно в начале каждого часа Джинни говорила мадам Бойярд, что мы идем на улицу на перекур. Как она часто замечала, такое возможно только во Франции. Во дворике мы разговаривали, помахивая незажженными окурками и не сводя глаз с двери в подвал. По словам Джинни, первое, что бросилось ей в глаза в Европе, — низенькие

люди с плохими зубами, что она приписывала соответственно незнакомству с шелковой зубной ниткой и непопулярности баскетбола.

— Я думаю, ты оценишь шутку, — сказала она.

Она приехала из Мэриленда и, едва купив контактные линзы, записалась студенткой на грядущую постановку оперы “Так поступают все женщины”. У нее были прекрасные тонкие руки, и она держала окурки самыми кончиками пальцев с отполированными ногтями. При разговоре она уверенно и плавно жестикулировала, словно житель Средиземноморья.

— Я все время стараюсь, чтобы горло, голосовые связки и легкие были в наилучшем состоянии.

Ее руки помедлили перед каждой важной частью ее певческой анатомии.

— Это как спорт. Необходимо тренироваться. Необходимо выкладываться. Необходимо бегать. Ты любишь бегать?

— Не знаю.

— Каждая мельчайшая альвеола должна быть чистой как стеклышко. Ты знаешь, что такое альвеолы?

— Кусочки легкого.

— Тогда я смогу брать высокие ноты. В парижской школе они не должны затухать. Ты себе

представляешь размеры легкого?

— Нет, не представляю.

— Я имею в виду — заботиться о нем. Та еще работенка.

— Нет, честно не знаю.

— Если расстелить легкое взрослого человека, оно покроет около сорока квадратных метров. Ты только представь.

Что-то в ней меня беспокоило. Я подумал, может, ее рот, но мне нравился ее рот. Может, то, как она смотрела на меня поверх очков, или четкость ее голоса. Как бы то ни было, я был вполне уверен, что она не трансвестит.

— Ты всегда хотела стать оперной певицей?

— Только когда поняла, что делаю успехи, — сказала она. — У меня это получается. А вот и она.

Джинни встала, бросила окурок и раздавила его подошвой. Пытаясь искрошить его до неузнаваемости, она покрутила ступней, а потом ногой и худенькими ягодицами сначала в одну сторону, а затем в другую. Она убивала сигарету, когда та уже давно была мертва.

Глядя на свет на ее лодыжке, я подумал, не предам ли я Люси, если влюблюсь в кого-нибудь еще.

— Он великий человек и великий ученый. Его работа о табачной мозаике воистину революционна, и нам ни к чему терять человека такого калибра.

Джулиан вытянул руки вдоль спинки дивана черной кожи. Его кабинет располагался на втором этаже Центра исследований и выходил окнами на гаревую беговую дорожку, асфальтированный теннисный корт и пруд, где мы нашли Бананаса. Волосы его потемнели и были подстрижены гораздо короче, чем в последний раз в Гамбурге.

Я предложил ему “Кармен”.

— Ты ведь знаешь, это запрещено, — отмахнулся он. На солнце блеснуло его обручальное кольцо. — Но сам, конечно, кури на здоровье.

Собственный кабинет, костюм в тонкую полоску, очки в тонкой оправе — трудно было поверить, что Джулиан все равно мой ровесник. Я был одет в спортивный костюм.

— Тебя трудно найти, Грегори.

— Ты знал, где я.

— Ты не отвечал на мои письма.

— Я не получал никаких писем.

— Значит, затерялись на почте. Как те, что я слал тебе в Париж.

— Наверно, — сказал я.

“Кармен” оказалась одной из тех, невкусных. Я наклонился в кресле, тоже черной кожи, потянулся к пепельнице из оникса на продолговатом журнальном столике. Рядом с пепельницей стояла прозрачная коробка с сигаретами.

— Отлично выглядишь, — сказал Джулиан. — Я слышал, твоей работой весьма довольны.

— За мной хорошо приглядывают.

Он хотел удостовериться, что у меня достаточно денег и что мне дают билеты на регби и “Формулу-3”. Возможно, меня заинтересует Глиндебурн, где компания любит финансировать цирк? Я сказал, что “Бьюкэнен” всегда был весьма щедр.

— Мы многим тебе обязаны, Грегори, — сказал он и, тщательно выдержав паузу, добавил: — Поэтому не думаю, что езда на мотоцикле — хорошая затея.

Я спросил, сколько еще он собирается здесь пробыть.

— Слишком опасно, — сказал он, — риск велик. Расскажи мне что-нибудь о Барклае. Ну то есть — что он за человек.

Ах, опять этот Тео. Легче легкого. Он потерял голову и позабыл близких друзей ради слепой страсти к фанатичке, которая борется с курени-

ем и ненавидит даже самый облик Тео. Но я не собирался говорить этого Джулиану, потому что измена Тео все-таки лучше, чем разбить человеку сердце просто на спор. Я сказал:

— Что вы собираетесь с ним сделать?

— Это не наказание, Грегори. Мы ведь все на одной стороне, помнишь? Мы изо всех сил пытаемся защитить его от людей из ЛЕГКОЕ и приглядим за ним, как приглядывали за тобой.

Он наклонился и зажег мою вторую “Кармен”, но сам к сигаретам не притронулся, хотя на столе стояла прозрачная коробка. Он сказал, что надо бы иногда ходить куда-нибудь вместе. Что мне надо познакомиться с его женой.

Черная хлопчатобумажная бейсболка с золотой эмблемой “Джей-пи-эс” спереди. Уолтер придерживает открытую дверь перед Эмми, которую я не видел с похорон Тео. Она не изменилась. Выглядит хорошо, спокойно, будто до сих пор влюблена, и намного моложе, чем на самом деле. Вот что значит не курить.

— Уолтер говорит, ты бросаешь, — говорит она, а я мямлю что-то в ответ и говорю, что пока рановато еще утверждать.

— Вот почему я принесла тебе вот это.

Она протягивает мне квадратную зеленую кар-

точку, на которой напечатано: драматический клуб “Колокольчик”, “Микадо”, приглашение на два лица. Пока я гадаю, что это значит, Уолтер идет заваривать чай, шаркая к двери, словно в тапочках. Я слышу, как он подносит спичку к трубке, и Гемоглобин трусит к нему.

— Спасибо, — говорю я, — но вообще-то я не большой поклонник таких вещей.

— Ты просто не знаешь.

— Называй это инстинктом.

— Всего одно представление, и тебя зацепит. Поверь мне.

Эмми подходит вплотную к Бетт Дэвис на афише “Вперед, путешественник” и пристально ее рассматривает. Затем переходит к обрамленной репродукции магриттовской трубки. Улыбается.

— Это из Парижа, — говорю я. — Как там “В путь” поживает?

— Прекрасно, — говорит она. — Бегаем, немного катаемся на велосипедах, изучаем основы скалолазания. Интересные люди.

Она некоторое время разглядывает акупунктурную схему уха, а потом — пристальнее — срез легкого. Тихонько вздыхает, почти про себя.

— Ты только посмотри на все это, — говорит она. — Он всегда знал, что это его убивает.

— Он не хотел забывать риск игры. Плакаты и все остальное — напоминание нам. Они не давали нам врать.

— Вся жизнь впустую.

— Она всегда впустую, — говорит Уолтер, вернувшийся с чаем. — Вспомни свою мать.

— Это не одно и то же. Она никогда в жизни не курила.

Эмми смотрит на изречение Парацельса над дверью.

— А бедный старый Бананас, — говорит она, берет чашку у Уолтера, держит ее обеими руками и сдувает пар. Убежденно косится на меня серыми глазами.

— Тео просил меня приглядеть за тобой, — говорит она.

— Я и сам за собой пригляжу.

— Хорошо. Я хочу, чтобы ты сводил моего инструктора по парашюту на “Микадо”. Ей не терпится.

— Эмми.

— Я уезжаю, а Уолтер слишком стар.

— К тому же там запрещено курить, — встревает Уолтер.

— Нет, — говорю я, на сей раз с нажимом, — думаю, это не для меня.

Эмми ставит чашку и совершенно спокойно говорит, что мне грозит опасность стать совсем жалким.

— Грегори, ты не можешь бросать курить вечно. Когда-нибудь тебе придется бросить бросать и двинуться дальше. Взгляни на то, что происходит за окном. Познакомься с новыми людьми. Обзаведись друзьями.

— Обзаведусь, — говорю я. — И очень скоро.

— Не бойся, Грегори.

— Я не боюсь.

— Ее зовут Стелла.

— Кого?

— Моего инструктора по парашюту. Стелла Грейнджер. Она хорошенькая.

Затем Эмми отворачивается, словно разочаровавшись во мне. Пристально смотрит на плакат Папая с трубкой во рту и говорит, что часто раздумывала, чем же мы занимались целый день.

— Кроме, конечно, того, что курили.

— Это был клуб, — говорю я, пытаясь понять, насколько сильно ее разочаровал. — Просто место, где люди могут быть вместе.

— Но как именно? — спрашивает Эмми, усаживаясь в кресло. — Расскажи мне, как именно.

На Рождество я не поехал домой в Англию.

Вместо этого я бродил по городу, словно какой-нибудь супергерой, выискивая горящие здания и кричащих женщин. Обломавшись, я заглядывал в букинистические магазинчики, где в глубине стояли коробки, забитые английскими книжками. Я искал что-нибудь со словом “История” в названии, и вскоре мое чтение стало определяться только этим выбором. В итоге я читал переводы “Истории Франции” Мишле и “Истории церкви” (т. VII) Флише и Мартена. Я читал “Незаконченную историю мира” Хью Томаса и “Историю Нового Света” Джироламо Бенцини. Наткнулся на “Узнайте историю игр союза футболистов и регбистов” и “Историю табака” В. Г. Кирнана. Приобрел издание “Истории Расселаса” доктора Сэмюэла Джонсона. Однажды, когда читать мне было нечего, а я не мог найти книгу со словом “История” в названии, я купил “Восемнадцать лекций по индустриальному обществу” Реймонда Аарона, потому что они были *про* историю. Так мне и надо: книжка оказалась бракованным изданием, где сто двенадцатая страница повторялась сто двенадцать раз.

Я обнаружил, что лучшие книжные магазины по совпадению находились рядом со зданием оперы, и я всегда мог встретить Джинни, которая

шла либо на занятия, либо с них. Я не встретил ее ни разу. Вместо этого я видел Люси Хинтон на заднем сиденье зеленой “ламбретты”, в шлеме и очках, с незажженной сигаретой в надутых губках и в юбке с разрезом, трепещущей поверх чулок. В темных очках и деловом костюме, с черными волосами, струящимися по ветру, — она шла к зданию Биржи. Рядом с Лувром перед группкой японских фотографов. Во многих кафе, чуть загороженную и сбоку, что-то смутное — как она затягивалась, на миг задерживала дым в легких, выпускала его через рот. Я всякий раз был уверен, что это она, но всякий раз оказывалось, что девушка старше либо младше, выше либо ниже, с другими ушами, носом или горлом, канадка, не говорящая по-английски, или замужняя нянька-испанка, или хорватка-автостопщица ищет, кто бы подбросил до Голландии.

Решив дать Люси последнюю возможность, я написал ей письмо на адрес общежития, хотя даже не знал, живет ли она там до сих пор. Если она действительно любит меня, то ответит. Если не ответит — значит, это было пари, и мне ничего не стоит пригласить Джинни на свидание. Ну то есть просто приглашу. Приглашение, и все.

Истоки оперы как вида искусства прослежива-

ются в Италии и перерывах (intermezzi) между действиями придворных представлений шестнадцатого века. Во время интермеццо игрались сценки аллегорического или философского характера под музыкальное сопровождение в стиле solo virtuoso, который только формировался.

Интермеццо славились элегантностью и утонченностью, постепенно они превращались в оперу, и считалось, что очарование их крылось в сочетании эстетической дистанцированности и шикарных изображений роскоши, кои становились все шикарнее. В конце концов опера стала изображать мир как последовательность возможных чувственных удовольствий. Она утоляла веру зрителей в то, что существуют жизни куда величественнее и насыщеннее, чем у них самих, а отважные деяния главных героев были преисполнены эмоциональной четкости, лишенной смутных порывов и неясных чувств повседневности.

Главную роль в опере обычно играет прекрасная женщина (сопрано). Героя (тенора) влечет к прекрасной женщине судьбой, и такое сочетание неминуемо ведет к беде. Например, и Россини, и Верди выявили оперный потенциал истории Отелло. Тристан Вагнера испускает дух на руках

Изольды, а Пелеас и Мелисанда Дебюсси умирают, отчаявшись сохранить любовь в жестоком и циничном мире. Все пропитано ощущением близкой катастрофы. В “Евгении Онегине” несчастные влюбленные остаются в живых, но Чайковский это компенсировал, попытавшись покончить с собой во время репетиций.

Джинни нравилась опера, где все эмоции чисты, хоть и запутанны. А в таких обстоятельствах самоубийство часто виделось единственным достойным решением. В “Лючии ди Ламмермур” Доницетти английский влюбленный Эдгардо выслан во Францию и закалывается, узнав о предполагаемой неверности Лючии. Измотанная страстями Катя Кабанова Яначека бросается в Волгу. В “Аиде” Верди влюбленные избирают жребий быть похороненными вместе, чтобы умереть в объятиях друг друга, причем все эти оперные самоубийства так воспевают мгновение смерти, что впечатлительному человеку может показаться, будто смерть есть ключ к прекрасному.

Разумеется, воспевание смерти приложимо только к одной разновидности оперы, обычно называемой *opera seria.* Существуют также *opera comique* и *opera buffa*, кои зачастую — не более чем грубый фарс, положенный на музыку. В этих

разновидностях оперы недолгий разлад сопровождается всеобщим разрешением конфликта. Самоубийство — лишь временная уловка, к которой обычно прибегают недовольные влюбленные, и даже второстепенные герои редко умирают.

— Моему мозгу нужен весь кислород, который он может получить. Знаешь, Грегори, ты ничуть не изменился. У тебя есть девушка?

— В данный момент нет.

— Тебе стоит жениться. Этот пласт сознания сильно недооценивают.

— Так мне постоянно говорит мать. Послушай, Джулиан, если ты бросил, почему носишь с собой сигареты?

Он небрежным щелчком послал пачку “Сенчури” через стол.

— Ради боевого духа, — сказал он. — В отделе маркетинга есть парень, который курит. “Эмбасси”. Каждое утро перед работой он набивает их в пачку “Бьюкэнен”.

Джулиан пригласил меня в паб. Содержимое его карманов лежало на столе, и с кроваво-черной пачкой “Бьюкэнен Сенчури” соседствовали брелок с кастаньетами “Кармен”, одноразовая зажигалка с надписью “БЬЮКЭНЕН” и несколько

монет, часть иностранные. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и ослабил галстук. Я закурил “Кармен”.

— Если честно, — сказал он, наклонившись через стол, — я имею в виду — вне пределов кабинета и все такое, я считаю, вы с Барклаем — просто герои, черт бы вас побрал.

— Джулиан, можно спросить? Почему ты больше не врач?

Он озадачился:

— Я врач.

— Тогда почему не работаешь врачом?

— Господи, Грегори, да попробуй ты хоть немного расслабиться.

— Или хотя бы не ведешь медицинские исследования. Как в Гамбурге.

Он посмотрел на меня заговорщицки.

— В Гамбурге неважно обращались с животными.

К тому же его нынешняя должность — продвижение по службе. Он это дважды повторил. Сегодня связи с общественностью — на переднем фронте, деньги там крутятся немалые. Он сказал, что для женатого мужчины такие мелочи, как наличность и будущее, становятся важны, особенно теперь, когда они подумывают о детях. Я кивал,

курил, а затем, вместо того чтобы напомнить ему о великих идеях, которые он расточал в юности, спросил про жену. Мне показалось, лучше начать с имени.

— Люси, — сказал Джулиан.

— Как, прости?

— Люси. Моя жена. Ее зовут Люси.

— Люси как?

— Люси Карр, — широко улыбнулся он. Он опять наклонился через стол. — Но иногда, когда мы одни, я называю ее возлюбленной Лулу, прилетевшей с *луны.*

— Нет, — сказала она, — не могу.

— А во вторник?

— И во вторник тоже.

Я объяснил, что ничего особенного не будет. Я куплю что-нибудь на рынке, а потом мы съедим это в моей комнате. Может, какого-нибудь копченого цыпленка. Она может принести вина. Лучше белого.

— Не могу, — сказала она.

Или можно сходить в “Козини”, итальянский ресторанчик за углом. Там здорово.

— Я правда не могу.

— Да все ты можешь. Это легко. Просто скажи “да”.

— Грегори, у меня есть парень.

Я уставился на зеленую статую. В основном это была статуя пальто и манеры ходить против ветра, но, если верить табличке у основания, это также был Жан-Поль Сартр. Рот чуть приоткрыт, губы разлеплены — наверное, немного запыхался от энергичной ходьбы и знаменитых сигарет, что он курил с Альбером Камю.

— Конечно, — сказал я. — Но я вовсе не это имел в виду.

— Он в Англии, — сказала она. — Он англичанин.

— Я имел в виду совсем другое.

— Конечно. У тебя наверняка уже есть девушка.

Я воззрился прямо на зеленый лацкан Жан-Поля Сартра. Встал и смахнул лист с его воротника.

— Да, — сказал я. — Есть. Конечно. Она тоже в Англии.

Парень Джинни был студентом-медиком в Лондоне, собирался стать ухогорлоносом. Она встретила его в Тюильри, на пробежке. Они одновременно бегали каждое утро, хотя он был вроде как на каникулах, и вскоре стали бегать вместе. Они как будто созданы друг для друга.

— Я тебя прекрасно понимаю, — сказал я.

Мою девушку зовут Люси. У нее длинные черные волосы. Очень худая. Не курит.

Вообще-то это был не клуб.

Хотя Тео принимал всех, о клубе никто не знал, не существовало никаких вступительных заявок. На самом деле это Эмми подсказала Тео название, в трущобах, когда он вышел из № 47 и в последний раз запер дверь. Толпа демонстрантов испустила громкий радостный вопль, и под гул “Нас не одолеть” Тео подошел к Эмми и сказал:

— Это точно.

— Я же говорила.

— И не соврали. Но, думаю, вам даже не жаль курильщиков. Я не имею в виду себя. Я имею в виду этих курильщиков.

— Нет, — сказала она. — Вы здесь создали клуб самоубийц, вот и все.

— Вы преувеличиваете, — сказал Тео. — Все не настолько серьезно.

— На кону жизнь и смерть, — сказала она.

Поэтому, переехав ко мне, Тео придумал купить бронзовую табличку, громоздкие вычурные кресла и картинки на стену. Это была шутка, но, возможно, она также напоминала ему об Эмми. Затем Уолтер притащил свою коллекцию сигаретных карточек, а потом и друзей, и мы

решили, что забавно прикинуться, будто у нас тут *действительно* клуб.

Затем Тео решил, что каждый должен пройти вступительную проверку, чтобы считаться членом. Он вообще непрестанно напоминал нам об опасностях курения — обычно глубоко затягиваясь при этом сигаретами той марки, которую тогда курил. Он всегда любил французские — наверное, потому, что они самые крепкие, а он в то время постоянно пытался снизить дозу. Его испытательные вопросы были нетрудными. Они требовали общего знакомства с курением, чтобы отсеять самозванцев:

Какая марка табака связана с финалом Кубка "Челлендж" Лиги регби, который ежегодно разыгрывается на стадионе Уэмбли?

Назовите три зачастую смертельных заболевания, тесно связанных с курением.

Какое слово написано на бескозырке матроса, изображенного на пачке "Плэйерс Нэйви Кат"?

Назовите любых трех общественных деятелей, куривших и умерших от рака легких.

Какой фразой Супермен уел Ника О'Тина в телевизионной кампании против курения в 1981 году?

Почти все друзья Уолтера курили достаточно

долго и знали ответы на эти и многие другие вопросы, поэтому почти все вступавшие оказывались друзьями Уолтера. Ходили также слухи, что Уолтер охотно продает вопросы заранее в обмен на табак. Единственным человеком, завалившим вступительные испытания больше трех раз, стал Джейми, хотя однажды он ответил на все вопросы правильно. Опять Уолтер подсуропил.

Женщины из трущоб никогда не приходили ни проведать нас, ни покурить, ни попросить у Тео сигарет. Не представляю, что происходило у них в домах после того, как Тео вынужденно их покинул, но, думаю, они не сопротивлялись, потому что привычны чего-то лишаться. В конце концов, потому они и курили.

Он встретил свою жену на “Бьюкэнен силверстоун спектакьюлар”. Она стояла в первом ряду у решетки и держала зонтик “Кармен № 6” над Робом “Королем” Картером, еще не остывшим от трех побед в разных классах на острове Мэн. При помощи телекамер Джулиан изучил ее из теплых и гостеприимных апартаментов “Бьюкэнен”. После начала заезда он пригласил ее внутрь, от дождя подальше. Детей пока нет. Блондинка.

— Доволен?

— Прости, — сказал я. — Я не хотел кричать.

Прости.

— Обещаю, чтоб мне провалиться на этом месте, что она не училась с нами в колледже.

— Знаю, прости. Я с кем-то перепутал.

Чтобы сменить тему и успокоиться, я спросил, как идет расследование. Джулиан пробыл в Центре исследований почти три недели, но ничего — за исключением того, что местные новости уже утрачивали интерес, — не изменилось.

— Именно в этом вся соль, — сказал Джулиан. — Неужели не понимаешь?

— Нет, — сказал я, — не совсем.

Джулиан не слишком торопился возвращаться в Гамбург, и даже несмотря на угасший интерес прессы ЛЕГКОЕ не собиралась сдаваться. В качестве последнего знака протеста они заблокировали въезд в Центр исследований, на несколько часов задержав рефрижератор. ЛЕГКОЕ заявила, что в рефрижераторе якобы находятся кошки для опытов, а на самом деле, если верить Джулиану, там было всего-навсего мясо для столовой (“Какого черта нам замораживать *живых кошек*?”). От таких штучек он уже на стенку лезет, сказал он.

— Надо их всех заставить курить. Тогда, может, они научатся маленько расслабляться. На самом деле, ну, правда, — сказал он и умоляюще протя-

нул ко мне руки, — как они могут думать, что мы убиваем людей ради выгоды?

И в его протянутые руки вообще-то нечего было положить.

— Девушка, которая нравилась тебе в колледже, — сказал он, опять сменив тему. — Какая-то там Люси, так? Как ее звали?

— Люси Хинтон, — сказал я.

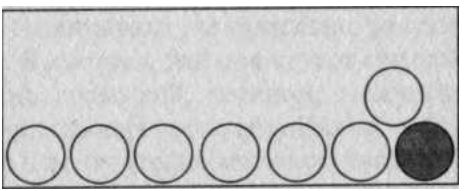
— Да, теперь вспомнил. Блондинка.

— У нее были черные волосы.

— Точно. Курила как паровоз и чертовски сексуальная. Вы еще общаетесь?

— Нет, — сказал я. — Не общаемся.

День 13



Я узнавал о жизни Джинни урывками, во время наших некурительных перекуров, которые она всегда заканчивала, старательно растаптывая окурки. Я смотрел, как она крутит ступней, щиколоткой, лодыжкой, коленом, ягодицей. Значит, у нее есть парень, но ведь Париж — большой город, в нем что угодно может случиться.

Она говорила, что семья ее не понимает. Ее старшая сестра стала адвокатом, как их отец, и чтобы дать наглядное представление о жизни, которой она бежала, Джинни любила описывать время, когда сестра ее работала на табачную компанию "Филип Моррис". В "Филип Моррис" прознали о съемках документального телефильма, выявлявшего связь между болезнями, связанными с

курением, и людьми, жившими в стиле ковбоя “Мальборо”. Во время начальных титров бывший ковбой и курильщик скакал на лошади по залитому солнцем пейзажу Среднего Запада. Он был в кислородной маске, соединенной с резервуаром, который болтался в переметной суме. В фильме также снялся звезда родео и бывший ковбой Джуниор Фаррис, умерший от рака легких в Мустанге, штат Оклахома, еще до конца съемок. “Филип Моррис” отправил сестру Джинни навестить его вдову. После долгого интервью выяснилось, что в конце семидесятых Джуниор несколько зим преподавал управление фермами в местной средней школе. Стало быть, изображение его ковбоем “Мальборо” несколько грешило против истины. На основе такого искажения действительности фильм запретили по суду и так и не показали.

Пыльным окурком Джинни описала безнадежную дугу, дав понять, что у нее нет больше слов, чтобы объяснить, почему она уехала в Париж в поисках любви и оперы.

Я пытался быть столь же откровенным в ответ и в конце концов, после бесчисленных проволочек и откладываний, решил, что должен сказать ей правду насчет Люси.

— Помнишь, что я говорил о своей девушке?

— Что?

— Это неправда, — сказал я.

— Ты ее не любишь?

— Нет, не это.

— Она не в Англии?

Джинни исподлобья посмотрела на меня, и хотя я все пытался понять, что же меня в ней так привлекает, это были точно не ее брови.

— Ничто из этого.

— А что же?

— Она курит как паровоз.

Оказалось, во всем остальном Люси почти идеальна. Она умеет петь, плясать и разыгрывать. Снимается для благотворительных журналов и добра к детям. Но даже когда я громко расхохотался, вспомнив необычное чувство юмора Люси, Джинни не выказала ревности. Я решил развить мысль: мы оба не собственники и не контролируем жизнь друг друга.

— Думаю, у тебя примерно так же, — предположил я.

— Вообще-то я собственница, — сказала Джинни. — Зачем останавливаться на полпути?

Жан-Поль Сартр внимательно слушал, только прикидываясь, что идет от нас, шаркая и ухмыляясь, как Марсель Марсо. Я часто предлагал

— может, после работы — сходить куда-нибудь, где Сартр нас не услышит. Но Джинни вечно была слишком занята пением, или ей надо было звонить своему парню, или, что еще хуже, она смотрела на меня так, словно я и сам знаю, что мы оба влюблены в других людей и все такое.

— Мы ведь друзья? — спросил Джулиан.

— Конечно.

— Потому-то я и хочу помочь, — сказал Джулиан. — И тебе, *и* Тео. Как он там? Не лучше?

Тео умирал.

Прошло больше года с тех пор, как Джулиан вызвал меня в этот кабинет, чтобы объявить результаты расследования, пространно объяснив, что в наше время такая компания, как “Бьюкэнен”, должна быть насквозь политизирована. Каждому сотруднику рекомендуется при любой возможности пропагандировать некоторые основные принципы — например, что нет никакой явной связи между курением и раком и что мы живем в свободной стране, где сигареты совершенно законны. Впрочем, особо рьяных, вроде Тео, приходилось обуздывать.

— Он имеет в виду, что я уволен, — сказал Тео.

Тео сидел на диване Джулиана, черная кожа отлично подчеркивала белизну его халата. Он

курил сигарету из прозрачной коробки.

— На самом деле ты не уволен, — сказал я. — Это просто уловка.

Джулиан решил, что Тео сможет взять короткий отпуск за счет “Бьюкэнен”, если перестанет возить сигареты в трущобы. Джулиан объявит об увольнении Тео, и недовольные из ЛЕГКОЕ спокойно разойдутся по домам. Когда все устаканится, Тео тихонько вернется к работе и продолжит исследования как ни в чем не бывало.

— Поэтому он лишь *говорит,* что ты уволен.

— В Гамбурге мы всегда так делали.

— Значит, это не проблема, — сказал я.

— Да, — сказал Тео. — Это *коррупция.*

Джулиан снял очки и потер глаза:

— Это пускание пыли в глаза. Это ничего не значит.

— А я был *так* близок к прорыву с ВТМ.

— Джулиан это знает, — сказал я.

— *Джулиан?*

— Мы в колледже вместе учились.

— Значит, ты знаешь, почему его вышвырнули из Гамбурга?

— Никто его не вышвыривал. Ему не нравились тамошние опыты над животными.

— Это он тебе сказал?

— Так будет лучше, — сказал Джулиан. — Подумайте о квартплате. Подумайте о собаке. Я делаю все, что в моих силах.

— Я и другую работу найду.

— Вы стареете, Барклай. Не валяйте дурака.

— Твои исследования, Тео, — сказал я. — Куда тебе еще податься?

Затем он нас удивил: он широко улыбнулся — разумеется, не разжимая губ. Он затушил сигарету. Встал.

— Вы оба такие пессимисты, — сказал он. — В конце концов, я всегда могу переехать к Грегори.

И теперь, год спустя, сколько я ни пытался объясниться, Джулиан по-прежнему убежден, что мы сговорились против него. И я нередко чувствую себя так, словно что-то ему задолжал.

— Я рад, что мы все еще друзья, — сказал Джулиан. Он поднес зажигалку к моей сигарете. — Потому что хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал.

— Это ведь было забавно, а, Уолтер?

— Не все время, нет.

— Но все-таки часто.

На нем коричневая шляпа “пирог” с ярко-желтой кокардой “Подумай о велосипеде”. Он сгорбился в кресле, злобно поглядывает на Эм-

ми, потому что она опять здесь, и слушает мои воспоминания о Клубе самоубийц. Я спрашиваю Уолтера, все ли с ним хорошо.

— Да, — говорит он.

— Уверен?

— Не твое дело.

Как бы там ни было, было по большей части забавно находиться в комнате, где полно бесстрашных людей, и каждый знает, что написано на бескозырке матроса на пачке “Плэйерс Нэйви Кат”.

— “ГЕРОЙ”!!

Клуб самоубийц вернул мне восклицательные знаки — все равно что получить второй шанс на образование и самые счастливые дни жизни. Мой нынешний курс обучения — альтернативная история во всех областях, что охватывались рассказами Уолтера и его друзей. Начало курсу статистики деликатно положил Джонси Пол, который рассказал про японские наблюдения за детьми женщин, чьи мужья курили. Одна из подопечных родила ребенка, чей рост и вес были значительно ниже средних, при этом она отрицала, что замужем за курильщиком. Исследователь удивлялся, потому что муж этой женщины каждый вечер рьяно курил в приемной до и после

своего визита. В итоге женщину спросили, почему она отпирается, что ее муж — курильщик.

— Простите, — сказала она. — Но этот человек просто мой любовник.

Физкультура: когда в 1987 году французский защитник Серж Бланко играл в Кубке мира по регби, в котором Франция вышла в финал, он выкуривал в среднем по тридцать сигарет в день, как и все великие французские игроки до него, в том числе незабываемый Жан-Пьер Риве.

Английская литература: если верить Ланди Футу, все великие английские романы написаны не без помощи табака. Он цитировал Теккерея о кубинском курении и Киплинга о различии между женщиной и сигарой. (Это входило также в курс “Женщина в современном мире”.) По мнению Фута, смерть романа совпала с антитабачным движением, а смерть автора можно связать с адекватным противодействием этому движению.

Экономика: пока Маркс писал “Капитал”, он истратил на сигары больше денег, чем получил за публикацию. Пожалуй, это объясняет его странную слепоту к тому очевидному факту, что на самом деле опиум для народа — табак.

Криминалистика: великий Шерлок Холмс

утверждал, что все первоклассные сыщики должны уметь определять 140 разных сортов табака. По *пеплу.*

Наука и психология: Ньютон курил, равно как и Фрейд, считавший, что сосет грудь, а не сигару, и в итоге умерший от рака рта, продемонстрировав тем самым женобоязнь, для которой были все основания.

Я наслаждался каждой минутой.

— Чушь, — говорит Уолтер. — Ты идеализируешь специально ради Эмми.

— Я не *идеализирую.*

— Все было не так радужно. Он врет.

— Я не говорил, что все было радужно. А с каких это пор ты стал таким борцом за правду?

Уолтер шмякает свой кисет на журнальный столик. Гемоглобин трусит к Уолтеру, но тот отвешивает ему пинка. Гемоглобин уносит ноги. Затем Уолтер сталкивает пепельницу с подлокотника. Она опрокидывается, кружится, останавливается. На столике зияет кожаная пасть кисета.

Он пуст.

Люси не ответила, и я написал ей снова, мягко намекнув, что не могу ждать вечно. Но из Англии приходили только письма от матери: она

перестала читать статьи об опасностях курения и переключилась на трагедии более общего характера. В частности, она живописала мне многоликие опасности, что подстерегают молодых англичан в больших иностранных городах. Статистика — ужасающее чтение.

Пунктуация смягчилась; я встревожился и в письме успокоил мать. Я напомнил ей, что великие и чудесные вещи происходят даже за границей и даже в больших городах. *Как знать,* писал я, *может, мне даже повезет!*

Осознав это, я вдвое упорнее добивался встречи с Джинни за пределами библиотеки. Я попросил разрешения взглянуть на репетицию "Так поступают все женщины", но Джинни сказала, что мне будет скучно. К тому же, что скажет Люси?

Не оставляя надежды, я пытался искушать Джинни описаниями итальянского ресторанчика "Козини" — и не только потому, что он находился прямо за углом моего дома. Козини, владелец и шеф-повар, славился своей нерешительностью, и его ресторан постоянно менялся. Поэтому в холодную погоду я говорил Джинни, что там пылает камин. В жару Козини устанавливал кондиционеры. Однажды, когда Джинни посетовала на свою бедность, я сказал, что "Козини

ни” бывает очень *дорогим.*

Она посмотрела вверх, прищурившись на ярком солнце, что затопляло библиотечный дворик.

— А там есть зал для некурящих?

— Огромный, — сказал я, — всегда.

— Всегда?

— Как минимум половина ресторана.

— Прости, — сказала она, — не сегодня. Я жду звонка.

Пока она искала, где бы раздавить бычок, я задумался, что же я делаю не так. Я помнил, что влюбиться в Люси было куда легче — потому я впоследствии и вывернул все наизнанку, свалив вину на Люси, — но тут я заметил, что Джинни ушла.

Ее сменила мадам Бойярд, она стояла аккурат между мною и Жан-Полем Сартром и загораживала солнце. Руки в боки, зажженная “Кэмел” фитилем торчит в кулаке. Она сказала:

— Какого черта ты тут *рассиживаешь* просто так?

— Давай посмотрим на это иначе, — сказал Джулиан. — Ты же со стариком Тео больше дружишь, чем со мной?

— Джулиан, я не знаю, я не понимаю, о чем ты.

Он *умирает.*

— Я хочу, чтобы ты принес мне один побег табака, который он выращивал до болезни.

— Я тебе уже говорил. Он отказался.

— А я в благодарность посмотрю, какую медицинскую помощь мы сможем ему оказать. “Бьюкэнен” работал над раком много лет. У нас есть классные специалисты.

— Я его спрашивал, и он отказался.

— Это всего лишь растение.

— Джулиан, Тео очень болен.

— Тео стоит на пути прогресса. Помоги нам обоим. Ты сможешь, если захочешь.

Я вспомнил угол, под которым Гемоглобин задрал голову, когда смотрел, как Тео снимает картины в квартире над закусочной Лилли. Вспомнил Папая, легкое и коллекцию лотерейных квиточков, которую Тео заткнул в красную хозяйственную сумку рядом с укоряющим рентгеновским снимком.

— Мне предстоит операция, — говорил Тео. — Обычное дело для людей в моем возрасте. Беспокоиться не о чем. Такая ерунда, что даже даты не назначили.

Я ему поверил, потому что он уже перечислял, чем займется у меня дома. Он дирижировал сига-

ретой, расписывая, как превратит заднюю часть дома в лабораторию. Если света хватит, В такой сырости будет достаточная влажность, идеальная для выращивания и проведения опытов над растениями наподобие, скажем, табака. Затем он подробно описал мою комнату, включая обогреватель и пуфик, хотя никогда там не был.

— Я не боюсь привидений, — добавил он, — это мне Джейми присоветовал.

Джейми постоянно следил за мной, хотя Тео так и не сказал, платил ли он ему сигаретами.

— Тео, ты извращенец.

— Он говорит, у тебя классный телевизор.

Он на секунду оторвался от сумок.

— Ты действительно хочешь, чтобы я к тебе переехал?

— Твоей работе это пойдет на пользу. Ты сам так сказал.

— Но ты действительно *хочешь*?

— Иначе ты окажешься на улице.

— Ты как-то сказал, что ничего не хочешь. Не хочешь отвлекаться, помнишь? Не хочешь никаких событий. Даже особо разговаривать не хочешь.

— Видимо, я изменился.

— Тогда скажи это.

— Я *хочу*, чтобы ты жил со мной, идет?

— Хорошо, — сказал он, — очень хорошо. Что-то я вдруг мальца проголодался.

И посреди комнаты он побросал все вещи и запрыгал с ноги на ногу, высоко вскидывая колени. Я узнал пляску, означавшую пирог с мясом и почками, и я бы хотел думать, что он пляшет капельку и от радости. Затем я тоже пустился в пляс, вращая руками назад, действительно чуть-чуть от радости, и так мы плясали, пока Лилли не распахнула дверь.

— Один пирог с мясом и почками, — сказала она.

— Всего один?

— И большой мясной.

Мы с Эмми вернулись, осмотрев останки лаборатории Тео, а Уолтер сидит за столом и читает это. Хотя не знаю, может, он читает вчерашнюю запись.

— Ну и неразбериха, — говорит он и качает головой.

— Кто сказал, что тебе можно это читать?

— А что это? — любопытствует Эмми. — Дайка взглянуть.

— Нет, пожалуйста, Эмми, положи на место. Уолтер, освободи стол.

— Это дневник? Что это?

— Куча вранья, — говорит Уолтер. — Ты тут прямо герой. А я — какой-то старый пердун в шляпах.

Он машет в мою сторону листом. Я выхватываю бумагу, и мне наконец удается оттеснить Уолтера и Эмми от стола.

— Бóльшая часть там правда, — защищаюсь я.

— Правда? — Уолтер уже несколько часов обходится без табака. — Вот я тебе скажу правду.

— Успокойся, Уолтер.

Не тут-то было. Он опирается на палку и говорит, тыча пальцем в воздух:

— Видишь эту женщину? Ее муж совершает самоубийство, пока ее отец убивает ее мать.

— Уолтер, держи себя в руках, — говорит Эмми. — Никто не совершал никакого самоубийства. Мой муж бросил меня, потому что заболел и так было лучше. Это случилось давным-давно.

— Он просто тебя бросил. Он курил “Житан”. И поэтому ты вбила себе в башку, что он нарочно себя убивал. Ты ведь так думаешь?

— Послушай, Уолтер, — говорю я. — Если у тебя кончился табак, не вали это на Эмми. Она не виновата.

Но он уже завелся. Он описал, как его жена,

мать Эмми, умерла от хронического бронхита, а Эмми до сих пор считает, что виноват он. Вот почему она задалась целью спасти Уолтера от самого себя, переехав к нему в дом, затерянный в трущобах.

— Я хотела тебе помочь, — говорит Эмми.

— Выкури трубку, Уолтер.

— Но это и есть правда, она за здорово живешь не закончится.

После ухода мужа Эмми до Тео ни в кого не влюблялась. Уолтер сказал, она была слишком занята: толкала антитабачные речи в частных школах для мальчиков и показывала слайды с раковыми яичками. Как будто избавление мира от табака могло все наладить, включая и ее несчастливую личную жизнь.

— Я просто не люблю, когда умирают люди, вот и все.

— Чушь. Ты любишь жаловаться на что-то одно, а не на все сразу. Ты просто разочарованная старая дева.

— Потому что каждого мужчину, кроме Тео, которого я приводила домой, мутило от твоего беспрерывного курения.

— Значит, это я виноват?

— Какая муха тебя укусила? Зачем ты так?

— Потому что это правда, — говорит Уолтер. — И в следующий раз, когда Грегори вздумает перемыть нам косточки, он сможет и это туда засандалить.

Эмми вот-вот расплачется. Гемоглобин подвывает. Мои записи словно порхают по столу сами по себе. Эмми смотрит на меня, помощи просит, и я вижу, что мы думаем об одном. Тео знал бы, что сказать и что сделать.

— Прости, Грегори, — говорит Эмми. — Мой отец дряхлеет на глазах.

Если бы Тео тратил меньше времени и сил на обустройство лаборатории и ухаживание за Эмми. Если бы он сделал операцию сразу же, едва узнал, что она ему нужна.

Писем все нет.

Я пропустил поезд метро в сторону библиотеки, потому что наблюдал за двумя пьянчужками на платформе напротив. Один был одет в белую шубу, а второй держал на коленях серебристый рюкзак. Надпись на рюкзаке гласила: “Космическая миссия “Аполло””. Они сидели на скамейке, разбитой на пластмассовые сиденья — специально придумано, чтобы помешать таким людям поспать с удобством, когда они устали. Парочка делила одну фисташку.

Не представляю, что это может значить.

Потом они закурили. Я смотрел, как они курят, откидываются, закрывают глаза, улыбаются. Они были совершенно счастливы, и я не понимал почему. Я подумал о книгах, которые объяснили бы мне это: “Социальная история парижских отщепенцев” или “История фисташки”. Затем я решил, что они просто спятили, что это парочка старых психов. Да, так оно и есть. Все дело в этом.

Из-за психов я опоздал на работу, и когда я несся вниз по лестнице, навстречу мне пробежала Джинни, протолкалась мимо меня, быстро и отчаянно топая по бетонным ступеням. Мне показалось, она плачет.

Мадам Бойярд ждала за компьютерами.

— Джинни Митчелл нехорошо, — сказала она с глубоким вздохом.

В расстройстве она нажала сломанную клавишу О. Посмотрела, как одна и та же буква бежит по экрану, а потом легонько стукнула по клавише, чтобы ее высвободить.

— Сломана, — сказала мадам Бойярд. — Она любила его. А он был тайно влюблен в рентгенолога.

Мадам Бойярд посоветовала Джинни сходить на улицу и выкурить столько сигарет, сколько

она захочет, пока не перестанет плакать. Я хотел помочь, но мадам Бойярд сказала, что сильно сомневается в моих способностях. Я мужчина, я наверняка ничего не понимаю в любви и душевных терзаньях. Она повернулась и пошла к своему столу, а я посмотрел на ее икры и подумал, что она по-своему довольно-таки привлекательна. И бедняжка Джинни тоже, подумалось мне.

Через некоторое время, когда я перепечатывал подробности “Дон Жуана” в Мете в 1943 году, Джинни вернулась. Она по очереди потерла сухие глаза костяшками пальцев, потом запястьем, потом чуть ли не локтем и наконец плечом. Шмыгнула носом. Села, почесала коленку, и я тут же забыл мадам Бойярд. Я наконец понял, что меня беспокоило в Джинни Митчелл. Что было в ней знакомо и восхищало одновременно.

Ее косточки. У нее были сексуальные косточки Люси Хинтон.

— Всего один побег табака, — сказал Джулиан. — Я немногого прошу.

— Я подумаю.

Он посмотрел на меня, как будто я совершал какую-то ужасную и вопиющую ошибку — например, подговаривал детей курить.

— Я иногда не понимаю, что вы против меня

имеете, — сказал он.

Когда Тео впервые отправился в больницу, весь Клуб самоубийц сидел как на иголках. Никто не курил, никто не говорил о курении, словно это само по себе гарантировало успех операции. Тео бы такого ни за что не захотел, но он был в больнице, раскрывал незнакомым людям историю своего курения. В основном мы сидели в тишине.

Старый Бен Брэдли приподнял брови, наклонился в кресле, открыл рот, снова закрыл. Он опять откинулся в кресле и покачал головой. Тогда Джонси Пол, тщательно подбирая слова, чтобы никоим образом не намекнуть на табак, описал, как его малолетние племянники побывали в кукольном театре в яслях больницы на Грейт-Ормонд-стрит. Больше говорить было особо не о чем. В действительности он оставил племянников смотреть на Панча и Джуди, а сам выскочил покурить “Пиккадилли” на Пэлл-Мэлл.

Уолтер принял вызов как мужчина и припомнил свое путешествие в Северную Африку. Его бросили в пустыне. Ни пищи, ни воды. Лишь солнце в зените да порой в жаркой дымке на горизонте бедуин покачивался на единственном горбу неутомимого верблюда и в бреду мерещился ковбоем… проклятье. Бросать не так легко, как

кажется.

Наконец Хамфри Кинг в припадке вдохновения разразился длинным описанием Римской империи, включая пристрастие к боям гладиаторов, искусной мозаике и фаршированным соням (вытеснение в чистом виде, хотя никто не собирался этого говорить). Кинг перешел на отношения римлян к самоубийству, весьма деликатно заявив, что их обществу недоставало общедоступного источника удовольствий. Уолтер захотел узнать точный процент римлян, покончивших с собой, а затем, по контрасту с Хамфри Кингом, без всякой деликатности заявил, что, будь он римлянином, ему бы хотелось покончить с собой двадцать раз на дню.

Мы погрузились в молчание, каждый тайно упрекал остальных за согласие держаться без табака, затем за пропущенную сигарету, винил остальных в болезни Тео. И все же никто не курил, никто не говорил о курении, потому что от этого зависела жизнь Тео.

Гемоглобин ни с того ни с сего заворчал. Бананас перелез через спинку дивана и принялся носиться кругами, а потом замер совершенно неподвижно, уставившись на дверь, в которую кто-то настойчиво стучал.

— Открыто, — рявкнул Уолтер, а может, все вместе, но все мы не были готовы увидеть, как Джулиан с широкой улыбкой проскальзывает в комнату, а за ним струится его черное пальто. Он осмотрелся, хлопнул в ладоши и еще раз осмотрелся, беспрестанно улыбаясь.

— Так это знаменитый курительный клуб, — сказал он.

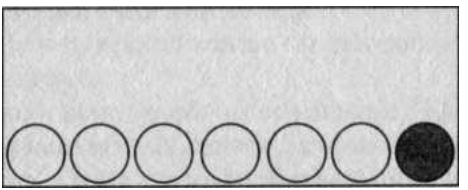
Из внутреннего кармана пальто он достал пачку “Бьюкэнен Сенчури”. Поднял ее, точно волшебную палочку.

— Не *сейчас,* — шикнул Уолтер.

Джулиан не обратил на него внимания и попробовал еще раз.

— Табак, — сказал он. — Сигареты. Там, откуда взялись эти, их еще полно.

День 14



— Они просто восхитительны.

— Значит, очки мне не шли?

— Да нет, просто теперь ты выглядишь совсем по-другому.

Даже в приглушенном освещении “Козини” в новых контактных линзах Джинни смотрелась достойной своих косточек. Вообще-то без очков она выглядела немного озадаченной, но косточки не менялись. Она сняла джинсовую курточку. Под ней было надето короткое летнее платье цвета ванильного мороженого. По нему разбрелись маленькие земляничники.

— Поскольку я певица, — сказала она, — в итальянских ресторанах я обычно заказываю альвеолы. — Она накрасила губы красной пома-

дой. — Давай закажем вина.

Контактные линзы были первым пунктом ее плана жить без утешения в лице английского парня. Обед в “Козини” — пункт второй, хотя Джинни дала понять, что приняла приглашение лишь потому, что я ее хороший друг. Не удовлетворенная этой формулировкой, она внушала мне, что ее сейчас ничуть не тянет ни ко мне, ни к любому другому мужчине. Стало быть, нечего беспокоиться, что она попытается меня соблазнить. Мои отношения с Люси вне опасности.

Это было весьма некстати: я знал наверняка, что Люси не собирается на крыльях любви лететь в Париж. Об этом обмолвился Джулиан Карр, в промежутке между перечислением своих экзаменационных оценок и сообщением, что Люси передали мой адрес. Его письмо ненадолго встряхнуло уголок моего разума, отведенный под чудеса, и я ждал, что он закончит послание мольбой о прощении и страстным призывом от имени Люси. Она, конечно, так переполнена эмоциями, что сама написать не в силах. На самом деле Джулиан хотел лишь рассказать мне о своей карьере и о том, что все развивается согласно его плану. Судя по всему, компания “Бьюкэнен” хотела привить ему вкус к коммерческим исследованиям и

предложила годовую стажировку в Гамбурге. *Но никаких обезьян!* — писал он. Отвечать я не стал.

— Какое значением все это имеет без любви? Что защищать?

— Что, прости?

— Грегори, не отвлекайся. Я не люблю повторять. Только голос лишний раз напрягаешь. И горло, — сказала она, — и голосовые связки. — Ее руки следовали по телу за ее словами. — И легкие. — Дело не только в ее косточках. Под платьем у нее вздымались и опадали прекрасные легкие.

Я посмотрел, как она дышит, и спросил, не появлялось ли у нее когда-нибудь ощущения, будто все, что мы могли сделать в Париже, уже сказали и сделали до нас.

— Да, — сказала она, — конечно. Но не мы.

Две расфуфыренные женщины сели за соседний столик. Одна выбрала сигарету из серебряного портсигара, постучала ею о стол, закурила и, хотя я беззвучно умолял ее не делать этого, выпустила дым в сторону Джинни.

— По-моему, ты говорил, что здесь не курят.

Я слегка поежился:

— Наверно, Козини передумал.

Джинни уставилась на женщину. Затем отодвинула стул и швырнула на стол салфетку.

— Это нельзя так оставлять, — сказала она.
— Но почему?
— Мое горло, Грегори, мои голосовые связки.
— Знаю, — сказал я. — Твои легкие.

Настроение Уолтера не лучше вчерашнего — наверняка потому, что из Клуба самоубийц опять никто не пришел. Здесь сидит только Эмми, и Уолтер, набычившись в своем кресле, надвигает поля черной шляпы на глаза. После его вчерашней вспышки я нервничаю, но Эмми приходится жить с ним постоянно и — должно быть, в отместку, — она намерена говорить о любви — тема, которую, как мы оба знаем, Уолтер терпеть не может. Эмми вспоминает, как впервые пришла сюда, когда хотела сказать Тео, что никак не связана с зажигательной бомбой, переброшенной через заграждение Центра исследований. Когда поездки в трущобы закончились, ЛЕГКОЕ распустили, и не ее вина, что некоторые идиоты до сих пор щеголяют в футболках. Она хотела, чтобы Тео знал: ей жаль, что он потерял работу.

На самом деле то был лишь повод еще раз увидеться с ним.

Уолтер, чей кисет сегодня хотя бы наполнен, никак не реагирует. Он уже раскурил трубку.

— Я очень его любила, — говорит Эмми, и Уол-

тер шуршит страницами “Нэшнл джиогрэфик”, который уже читал. Поднимает журнал, чтобы скрыть лицо, и с обложки на нас устремляются темные глаза женщины племени йекуана.

— Я не слушаю, — говорит Уолтер. — Даже не притворяюсь.

— Вот и ладненько, — говорит Эмми.

Похоже, необычные подробности жизни Тео лишний раз убеждают Эмми, что он существовал на самом деле. Например, она говорит мне, что шрам на верхней губе появился у него после игры в рулетку, когда шарик слетел со стола и ударил в губу с такой силой, что выбил зуб.

Уолтер что-то бормочет из-за журнала.

— Прости, Уолтер?

Он опускает свое заграждение.

— Чепуха, — говорит он. — Только представь, какова вероятность, что такое произойдет.

— Мне его не хватает, — говорит Эмми.

— Нам всем его не хватает, — говорит Уолтер. — Давайте сменим тему.

— Вот поэтому нам всем надо не сидеть без дела. Стелла говорит, что возьмет тебя покататься на дельтаплане, чтобы отблагодарить за театр.

— Я еще не решил, что пойду.

— Она уже предвкушает, — говорит Эмми.

Я знаю, не стоит этого делать, Эмми только того и надо, а я должен лишь противиться искушению, но все же я спрашиваю о Стелле. Эмми к этому готова.

— Она опытная парашютистка, альпинистка и дельтапланеристка, — говорит Эмми, зная, что я имел в виду не это. Я имел в виду, хорошо ли она выглядит и какие у нее косточки. — Еще она занимается виндсерфингом, ныряет с аквалангом и пилотирует планеры.

— Суперженщина, — говорит Уолтер. — Более того, Луис Лейн. — Он перелистывает "Нэшнл джиографик" обратно и опять принимается читать с начала.

— А чтобы расслабиться, лазает по горам.

— Звучит весьма устрашающе.

— Она забавная, примерно твоя ровесница, и у нее есть жирная черная кошка по имени Клеопатра.

— Что-нибудь еще?

— Чего тебе еще?

— Она, конечно, не курит?

Уолтер говорит:

— Некоторые вечно недовольны. — Для пущего эффекта он швыряет "Нэшнл джиографик" на пол. — У тебя нет ни шанса, — говорит он. Качает

головой: — Бывший курильщик. Паинька.

Тут я, как невозмутимый некурящий, собираю все силы, чтобы дать отпор этой суровой атаке Уолтерова крутого нрава. Я очень вежливо спрашиваю, не жарковато ли ему в черной фетровой шляпе.

— Нет, — говорит он, — ничуть.

— Это твоя похоронная шляпа?

— В точку, — говорит он. — Потому что в последнее время вы двое только и делаете, что перемываете косточки мертвым.

— Со своим характерным тактом, — поясняет Эмми, — он говорит про Тео.

— Что ж, — отвечаю я, — в таком случае сменим тему.

Я спрашиваю Эмми, как она поняла, что это любовь.

Джулиан за столом что-то набивал на компьютере. На улице стояло лето, и Джулиан снял пиджак. Светло-голубая рубашка с белыми манжетами и черными шелковыми запонками в виде кастаньет.

— Компьютер говорит, у тебя отличное здоровье.

— Ты знаешь, что это для Тео, — сказал я. — Я не собираюсь милостыню просить.

— Знаю, Грегори, но ты так и не принес мне табак. Помощник из тебя никудышный.

— Если ты все расстраиваешься из-за Клуба самоубийц, прости. Это не моя вина.

— Я просто хотел вступить. Это же не преступление.

— Ты провалил испытания. Я ничем не мог помочь.

— Они не хотели, чтобы я вступил. Откуда мне знать, как назывались курительные клубы в Лондоне? К тому же в *девятнадцатом веке.* Откуда мне знать, какая связь между Джоном Уэйном и Эдуардом, графом Виндзорским?

Потому что для любого, кроме самозванца, это очевидно. Оба умерли от рака легких, и в случае графа Виндзорского это означало, что он никогда не станет королем Эдуардом. Еще он женился на некоей миссис Симпсон, но это к делу не относится, поскольку она не имела никакого отношения к Симпсонам, знаменитым торговцам табачной продукцией.

— Почему они не захотели меня принять?

— Ты неправильно ответил на вопросы.

— И теперь ты не принесешь мне табак, потому что Тео этого не хочет. Может, просто возьмешь и притащишь? Ему наверняка все равно.

— Сомневаюсь. Ты его хуже знаешь.

Сверяясь с монитором, Джулиан напыщенно поведал мне, что Тео проработал в Центре исследований двадцать девять лет, восемь месяцев и семь дней. За это время он прошел путь от помощника исследователя до куратора проекта.

— Это лишь факты, — сказал я. — А не вся история. Впрочем, ты понимаешь, что я имею в виду.

— Ладно, тогда *ты* скажи мне название его докторской диссертации.

Я не хотел спорить. Тео был по большей части прикован к креслу, хотя врачи говорили, что при удачном раскладе ему полегчает перед тем, как станет хуже.

— “Обманная система вируса табачной мозаики”. Ты знал? Я — да. Это у меня на экране написано.

Мы через день помогали ему забраться в такси, и он отправлялся повидать Эмми. Она водила его на уколы кортизона.

— Его работа на “Бьюкэнен” — продолжение диссертации, в которой он отмечал, что симптомы ВТМ не проявляются при температуре выше 27 градусов по Цельсию.

Его лицо исхудало, а волосы торчали еще безумнее, чем прежде. С недавних пор у него болит

нога.

— В ходе дальнейших исследований он пытался убедить растения табака, что температура всегда выше 27 градусов, даже если это не так.

Тео не строил иллюзий. Вечерами, когда все расходились по домам, он объяснял мне, что основная сложность с раковыми клетками — их невосприимчивость. Они ничего не умеют. Не умеют даже умирать, а значит, просто занимают место, которое освобождают здоровые клетки. Раковые клетки по сути бессмертны и бесполезны. Тео знал, чем все закончится: кровоизлиянием, или легкие не справятся, или смертельной инфекцией, — но по-прежнему осиливал минимум пару сигарет в день.

— В его последнем отчете перед уходом из “Бьюкэнен” говорилось, что он вот-вот выведет привитое растение. Там приводились какие-то формулы, но я ведь не ботаник, я просто врач.

— Ты пиарщик.

— Замнем. В конце отчета Барклай напоминает, что победа над ВТМ для табачной промышленности — почти алхимическое открытие. Станут возможны самые разнообразные победы. Может, это даже первый шаг к получению растения, не содержащего ядов, из-за которых люди думают

порой, что сигареты опасны. Иными словами, к совершенно безопасной сигарете, что станет невероятным достижением для промышленности.

Тео отметал жалость, считая болезнь не чем иным, как проигранным пари. Бог перестал сожалеть о смерти матери Тео. Бог простил себя. “Мне льстит, что это заняло столько времени”, — сказал Тео.

— Безопасная сигарета, — напомнил мне Джулиан. — Подумай о жизнях, которые ты спасешь.

— Он отказался.

— Всего один побег, просто чтобы проверить, насколько он близок к цели. В противном случае мы не сможем ему помочь. Выбирай сам.

Кровать угрожающе прогнулась в середине, так что мы устроились на полу, уткнув подбородки в колени.

— Ты резковато выразилась, — сказал я.

— Откуда мне было знать, что она англичанка?

— Ну, учитывая обстоятельства, она это вполне пережила.

— Бывают же обидчивые люди.

После того как нас вышвырнули из “Козини”, было самое время напомнить Джинни, что я живу прямо за углом. По пути мы миновали магазин,

где продавались готовые цыплята и вино, так что в конце концов мы поели у меня. Я провел экскурсию по комнате, а Джинни предложила пропустить кресло, если экскурсия чересчур затянется, так что в общем и целом все шло неплохо.

Мы выпили две трети вина, и тут Джинни сказала:

— У тебя на стенах нет картин.

Я пропустил это мимо ушей. Я раздумывал, как бы повернуть разговор в направлении судьбы, особенно применительно ко мне и Джинни.

— У тебя даже снимков нет, — сказала она. — Ты не любишь разглядывать семейные снимки?

Я сказал, что это никогда не приходило мне в голову. Может, ей нравится поэзия?

— А Люси? — сказала она. — У тебя должны быть снимки Люси.

Я сказал, что само собой. Может, она еще голодна?

— Можно взглянуть?

— Прости?

— На Люси, я хочу взглянуть на снимок Люси. Ну, девушки, которую ты любишь.

— Ах, на *эту* Люси, — сказал я. — Нет. Вообще-то я… Не *здесь*. К тому же она лучше выглядит у меня в голове, чем на фотопленке.

— Она что, некрасивая?

— Да нет, — сказал я. — Просто сексуальней одета.

— Что?

— У меня в голове.

— Мне кажется, ты стесняешься.

— Не стесняюсь.

— Тогда почему ее прячешь?

Джинни сделала вид, что заглядывает под матрас, поэтому мне пришлось отклониться. Пытаясь не столкнуться со скелетом цыпленка, я стукнулся головой об дверь. Джинни встала голыми коленками на кровать, и платье затрепыхалось вокруг ее бедер. Она выдвинула верхний ящик комода.

— И здесь нет. — Она обследовала свернутые шариками носки.

— У тебя красивые руки, — сказал я.

— Или она у тебя вместо закладки. — Она взяла несколько толстых книжек по истории и перелистала.

— Джинни, вообще-то у меня нет снимка.

— Конечно, есть. Ты же ее любишь.

Наконец она схватила пенал фирмы “Хеликс”, единственное место, где я еще мог что-то прятать. Открыла пенал, и трудно было сказать, разоча-

рована она или нет. Отполированными ногтями она раздвинула карандаши и достала сигарету Джулиана.

Джинни вытащила сигарету, показала мне так, будто я ее никогда раньше не видел. Сигарета начала стареть. Вся сморщилась, как стариковская одежда.

— Зачем у тебя сигарета в пенале?

— Потому что это не простая сигарета, — сказал я, наконец-то увидев возможность. — Это *волшебная* сигарета.

— Я была готова сказать ему, что ошибалась, хотя знала, что не ошибалась.

— Он говорил, что ты наверняка права и, возможно, курение — это ужасно. Но он в это не верил. Это и есть любовь?

— Я поняла, почему женщины в трущобах время от времени хотят покурить, чтобы утешиться.

— Он говорил, что ежегодно умирают сотни тысяч курильщиков, но это он просто хотел доставить тебе удовольствие.

— А чтобы доставить удовольствие ему, я говорила, что сто тысяч умерших курильщиков не означают, что сто тысяч некурящих никогда не умирали.

— Или что курильщики не умерли бы, если б

не курили.

— Именно. Вот это, — сказала Эмми, — и есть любовь. Готовность к переменам.

— Помнится, он как-то неопределенно извинялся.

— И я тоже. Дело не только в смерти и умирании или даже больных легких и зловонном дыхании. Теперь я это знаю. Я прочла книгу.

— Дело не только в крутизне и чтобы стать, как Хамфри Богарт. Частицы налипают на одежду и вызывают сердечную слепоту и головокружение. Не говоря уже о химикалиях и канцерогенах.

— Мне больше всего понравилась глава о нюхательном табаке. Можно его с чем-нибудь смешать, чтоб получился твой любимый запах.

— Фенола, изопрена и мышьяка.

— Персика и лаванды. Иногда эссенции герани.

— Двуокиси серы, окиси углерода, нитробензола.

— Черной смородины и малины.

— Зета-нафтиламина.

— Мускатного ореха и ванили.

— N-нитрочтототамэтиламина.

— Бергамота, каскариллы и розмарина.

— Бензопирена, винилацетата.

— Перечной мяты, сандалового дерева и валерианы только что из цветка.

— Формальдегида.

— Ментола.

— Метанола.

— Кардамона.

— Кадмия.

— Цитрусовых.

— Цианида.

— *Цитрусовых.* Не стоит и эту сторону забывать.

— Нет, не стоит забывать обе стороны.

— Я думаю, это и есть любовь.

— Обычно волшебные сигареты выглядят получше. Моложе.

Она понюхала.

— Вообще-то пахнет довольно приятно.

— Не обманывайся. Все изменится, когда ты ее закуришь.

— В тюрьмах сигареты используют вместо денег, — сказала она. — Мне сестра рассказывала.

— Знаю. Они издавна что-нибудь да заменяют.

— Если я ее поцелую, то превращусь в принца?

Она взяла сигарету Джулиана в рот и сомкнула красные накрашенные губы вокруг фильтра. Она держала ее, как соломинку для питья, не совсем

уверенная, что это за питье, повращала глазами и сделала вид, будто затягивается, а потом вынула сигарету изо рта, опять сделав вид, будто выпускает дым, помаргивая, точно испанская курильщица.

— Как элегантно, — сказала она. — Как неумно.

Потом она взяла сигарету и зажала ее под носом, придерживая верхней губой: сигарета — словно прямые белые усики.

— Смешно, а? — Губы скривились, голос исказился, но когда она попыталась изобразить Ретта Батлера, сигарета вывалилась, хотя Джинни поймала ее, не успела сигарета миновать подбородок. — Вообще-то, дорогуша, — сказала она, — я не могу изобразить Хамфри Богарта.

Она счастливо сжала сигарету в зубах, и я посоветовал ей быть осторожнее. Она понятия не имеет о власти сигареты.

— Ах да, конечно, — сказала она, — она убивает людей.

— И не только.

— Мне скоро пора идти, — сказала она.

— Уже?

— Надо ночью хорошенько выспаться. Чтоб голосовые связки и горло отдохнули, сам понимаешь.

— Да, уже должен бы.

— И, разумеется, легкие, — сказала она.

— Все нормально?

— Да, — сказала она, — все хорошо.

Она протянула мне сигарету Джулиана.

— Скажи мне, почему она волшебная, — сказала она, но что-то в ней изменилось. Она вдруг погрустнела и разглядывала подол своего платья все время, пока я объяснял, как, возможно, не знаю, в какой-нибудь параллельной вселенной, если бы мы курили и все такое, хотя мы вовсе не курили, но если бы курили, или не обязательно мы, но кто-нибудь другой выкурил бы волшебную сигарету, то мы, или они, влюбились бы в первого же человека, которого увидели. Или даже влюбились бы в человека, с которым курили эту сигарету, если они оба курили, в параллельной вселенной и так далее.

— Ты так считаешь?

— Ну, кто знает?

— Это нехорошо, я лучше пойду, — сказала она.

— Что нехорошо?

Она встала и стала надевать курточку.

— Что нехорошо, Джинни?

— Не надо, — сказала она.

Я встал. Чтобы пробраться к двери, ей пришлось положить руки мне на плечи и отодвинуть меня в сторону.

— Чего не надо?

— Прости, — сказала она. — Не надо было мне приходить. Это нехорошо, так нельзя с Люси.

Она не стала открывать дверь. Попыталась выдавить улыбку.

— Ты должен кое-что знать, Грегори, — сказала она. Указательным пальцем она коснулась моей руки. — На самом деле она не волшебная. Это просто сигарета.

Она привстала и легонько прикусила мою нижнюю губу. Затем отшатнулась и оттолкнула меня.

— Ну что, не так уж и плохо, а?

Затем Джинни ушла, закрыв за собой дверь. Я ошеломленно таращился на сигарету Джулиана: на фильтре теперь виднелись следы губ.

Конечно, я всегда знал, что никакая она не волшебная.

Лаборатория Тео в задней части дома походила на последний оплот джунглей. Повсюду стояли растения в ярко-красных горшках и желтых мешках, и листья зеленели всеми мыслимыми оттенками. Листва заслоняла светильники на

потолке, но зеленоватый свет все же просачивался. По стенам текло, повсюду такая влажность, что постоянно казалось, будто воздух наполнен па́ром, идущим непонятно откуда.

Эмми увезла Тео в больницу, а я пытался оправдать свое проникновение сюда тем, что за все заплачено моими деньгами: за двойные стекла в окнах, за рабочую скамью и микроскопы, предметные стекла, чашки Петри, скальпели и громадные промышленные бутыли. Из середины пуфика, полускрытого листьями, на меня скептически смотрел Бананас, и Бананас был прав. Это деньги “Бьюкэнен”.

Я присел на корточки, и Бананас позволил мне почесать его за ушами. Клуб самоубийц изменил Бананаса. Ему давно уже было мало осторожно вдыхать воздух над пепельницами. Его зависимость усилилась, и теперь он любил еще подлизывать из пепельниц пепел. Он научился забираться в кисет Уолтера и лежать совершенно неподвижно, уткнувшись носом в табак и жмурясь от удовольствия. Тео даже купил ему собственный кисет, набитый латакией, и Бананас всегда держал его поблизости от пуфика. Приходя в гостиную, он приносил его в зубах, но в основном дрых в лаборатории, и мне нравилось

думать, что у него особый талант унюхивать потенциал зеленых листьев табака.

Но я все медлил, отчасти потому, что заметил: не все растения в лаборатории одинаковы. Не только по размеру, но листья разной формы, а стебли разной толщины. В конце концов я взял одно растение, стоявшее над скамьей, потому что его удобно нести, и оставил Бананаса в грезах, наполненных джунглями, где с неба шел дождь из латакии.

В Центре исследований я водрузил растение на стол Джулиана. Он долго этого добивался, но все же меня удивил, обняв за плечи и предложив прогуляться. Я спросил его, когда ждать ответа от специалистов “Бьюкэнен”.

Мы шли к пруду. Я закурил.

— Каких таких специалистов? — спросил он.

— Я принес тебе табак.

Мы миновали теннисный корт.

— Принес, — сказал Джулиан, — и я об этом поразмыслил. Не думаю, что заниматься доктором Барклаем — наша обязанность.

— Не понимаю. Он всю жизнь горбатился на “Бьюкэнен”, и у него рак от сигарет “Бьюкэнен”.

— Прости, по-моему, я что-то упустил. Разве выявлена какая-то связь между курением и раком?

— Не будь ублюдком, Джулиан.

Он повернулся ко мне. Ткнул меня пальцем в грудь, и я отступил.

— А теперь ты послушай меня, Грегори. — Он вдруг словно увеличился в размерах. Еще раз ткнул меня пальцем: — Просто послушай. Я проторчал в этом сральнике почти два года. До сего дня я показывал тебе лишь плюсы да мой оглушительный успех с людьми из ЛЕГКОЕ. Минусы же заключаются в том, что по моей вине “Бьюкэнен” потеряла одного из лучших ученых.

— Ты сказал, что ему поможешь.

— Как ты помог мне, когда я пытался удержать его в Центре? Грегори, моя карьера здесь загибается, а от тебя помощи ноль.

— Я принес тебе табак, — сказал я. — Как ты и хотел.

— Ты принес мне КАУЧУК, идиот, из личной лаборатории Барклая, которую ты построил для него на деньги “Бьюкэнен”. Ты знаешь, я женат. Мне о будущем думать надо.

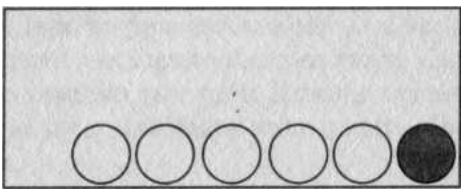
Он повернулся и пошел обратно к Центру, оставив меня на берегу пруда, откуда больше некуда идти. Затем он остановился, обернулся и ткнул пальцем в мою сторону.

— И еще, — сказал он. — Люси Хинтон.

— В чем дело?

— Конечно, я ее помню. У нее был восхитительный рот.

День 15



Пьяный студент или недовольный библиотекарь всунул зажженную сигарету Сартру меж приоткрытых губ. Толстая французская сигарета без фильтра, и всякий раз, когда я смотрел вверх, Сартр успевал ее немного выкурить. Джинни сказала:

— Не надо мне было этого делать, Грегори. Прости.

Знакомый солнечный свет, заливающий библиотечный дворик, утро в разгаре. Казалось, наша дружба застряла в этих эпизодах длиной в сигарету, и любой прогресс, на который мы способны, сопровождался настырным присутствием Жан-Поля Сартра, который не столько курил сигарету, сколько ел, медленно всасывая

ее, как спагетти.

— Я ничего не могла с собой поделать, — сказала она. — Я хотела этого, ты был рядом, и я не устояла.

Она положила руку мне на колено. У нее были прекрасные руки.

— Я не хочу вставать между тобой и Люси, — сказала она.

— Ах, между мной и Люси, между Люси и мной.

— Девушкой, которую ты любишь.

По моему лицу все было ясно. Тоскливый взгляд и некоторая нервозность подле других женщин. Этим объяснялось мое периодическое недовольство (никакой Люси). Более того, лишь потому, что я сильно любил другую, я по наивности пригласил Джинни на обед, выпил с ней вина, привел ее в крошечную комнатку (с постелью) и до сих пор считал, что мы можем оставаться друзьями. Вот почему она поняла, что поступила неправильно, когда попыталась меня поцеловать.

— Но ведь у тебя нет снимка, — сказала она.

Мое представление о любви было сумбурнее. Впрочем, теперь я понял, что одного оптимизма недостаточно, потому что надежда на письмо от Люси не заставила это письмо появиться. Вместо

этого мне опять написал Джулиан, на сей раз из Гамбурга, города столь восхитительного, что Джулиан затруднялся его описать. Впервые в жизни ему платили за то, чем он хотел заниматься, и ему задали нелегкую работенку получить достоверные данные о том, как влияет на здоровье вдыхание дыма. *Курильщики все равно врут,* писал он, *так что нельзя просто их спросить.* Уверенный, что всегда сможет получить все, чего хочет, Джулиан говорил так, словно эта проблема уже решена.

Он ни разу не упомянул Люси, даже мимоходом, даже чтобы уязвить меня, и это меня уязвило.

— Вот у тебя сейчас такой, — сказала Джинни. — Тоскливый взгляд влюбленного.

— Я задумался.

— Давай я придумаю, — сказала она. — Кино?

— Фильм?

— Их там обычно и показывают.

— Хорошо, — сказал я. — Отлично.

— А как же Люси?

— Вряд ли она пойдет.

— Я не хочу вставать между вами.

Мы решили предоставить выбор фильма провидению, так что Джинни выбрала день, я выбрал время, а Джинни выбрала один кинотеатр воз-

ле Сорбонны, где крутили классику. Когда мы все утрясли, Сартр успел проглотить сигарету целиком. К нижней губе свидетельством чуда прилипла одинокая золотистая чешуйка несгоревшего табака — Сартр, решил я, приберег ее на потом.

Никто не заслуживает гореть в аду. Тео пытался убедить меня в этом, чтобы мы могли спокойно поговорить о Джулиане Карре.

— Говорят, у него большие сложности с женой, — сказал Тео. — Бедняга.

— И это объясняет, почему кто-то по его указке сюда вломился и выкрал табак?

— Не думаю, Грегори. Скорее ты скис и отнес ему растение каучука.

Тео стоял у широкой рабочей скамьи, обследуя нижние ветви растения около метра высотой: раз в год на нем распускались белые цветы, а широкие листья обычно высушивались и измельчались в курительную субстанцию. Это один из немногих применяющихся в ботанике способов отличить табак (Nicotiana affinis) от обычного каучука (Ficus elastica). Тео сказал, что ему не хватает каучука.

— Он тут сообщал некоторый уют, — сказал он.

У Тео был хороший день. Лицо не такое осу-

нувшееся, да и двигался он свободнее. Я сидел на полу и наблюдал за ним, моя футболка прилипла к плечам — я только что прибежал из Центра. Бананас сонно заворочался на пуфике и перекатился на спину.

— “Бьюкэнен” похожа на любую другую большую компанию, — сказал Тео. — Она тщательно оберегает свое положение. Если бы я решил проблему вируса, то мог бы продать открытие кому-то еще, и они бы выращивали табак где угодно.

— Но это воровство, — сказал я. — Это личная месть Джулиана нам.

— Я думал, вы друзья.

— Он жестокий, лживый, двуличный, льстивый, врущий, мстительный, злобный, ненадежный, скупой ублюдок.

Тео отложил свою работу. Опустился в кресло, которое мы принесли из гостиной, и закурил. Я закурил. Бананас соскользнул с пуфика, взял кисет с латакией в зубы и вспрыгнул к Тео на колени.

— Ну-ну, — сказал Тео. — Я бы не назвал его *жестоким.*

— Он никогда не принимает в расчет людей. Только деньги и статистику. Он думает, мы долж-

ны распустить Клуб.

— Разумеется, ты всегда можешь бросить курить.

— Он явно считает, что Уолтер пожароопасен. Прости?

— Я просто подал мысль. — Тео почесал Бананаса за ушами, между двух проплешин на макушке. — Тогда будет все равно, что думает Джулиан.

Я посмотрел, как Тео спокойно наслаждается сигаретой, и попытался расшифровать выражение его лица. Конечно, он шутил. Он сказал:

— Если тебе не нравится нынешнее положение вещей, придется частично взять вину на себя.

Нет, Тео ошибался. Теперь я абсолютно точно знал, что с тех пор, как Джулиан привлек мое внимание ко рту Люси Хинтон, во всем без исключения виноват он. Меня поразило, что я не помню ее рта, а затем я осознал, что забыл и ее губы. Я припоминал ее скулы и подбородок, но теперь они разделялись гротескной парой универсальных красных губ, застывших в гримасе, адресованной Джулиану.

Я упрекнул его, что он совершенно ничего не знает о рте Люси Хинтон:

— Ты вообще думал, что у нее светлые воло-

сы, — сказал я. Но он отмахнулся, а затем подлил масла в огонь, предложив мне найти новую девушку, пока результаты моих тестов еще подходят не одним закоренелым холостякам. Чертовски смешно, Джулиан.

— Думай как хочешь, — сказал я Тео, — я давно знаю Джулиана.

— Он напуган. Он работает на “Бьюкэнен”, где думают, что люди вроде меня выращивают табак на огороде между морковкой и луком.

— Для “Бьюкэнен” это незавидные новости.

— Вот именно. Положение на рынке их устраивает, поэтому они противятся любым переменам.

— Ты уверен, что дело не только в Джулиане?

— Конечно, нет. Дело в “Бьюкэнен” и остальных табачных компаниях. У всех один интерес, и, как правило, они объединяются для самозащиты. Например, запрещают растение, устойчивое к ВТМ, если до этого дойдет.

Он не сообщил мне, вывел ли он устойчивое растение. Сказал, что это не важно. А если бы даже и вывел, то единственное растение в одном Центре исследований не слишком помогло бы “Бьюкэнен”. Если они действительно хотят быть уверены, что ничего не изменится, надо уничто-

жить всю лабораторию.

Охотничья шапка. Зеленоватый твид. Уши подняты и связаны на макушке.

Здесь сидят Джонси Пол, старый Бен Брэдли, Уиттингем, доктор Хеккет, поляк Ян Пето и Ланди Фут, которые, между нами говоря, могли бы и постараться, развеселить Уолтера даже ценой быстрого сведения меня с ума. Все курят, за исключением Ланди Фута, который часто теряет нить разговора, поскольку одновременно обдумывает, какую бы из своих зависимостей пустить в ход дальше. Он жует никотиновую резинку и пытается вспомнить, принял ли добавку маточного молочка и что за потребность вызывает у него это легкое, но безошибочное ощущение неудовлетворенности. Мне оно знакомо — у меня от него дрожат руки.

В комнате, набитой курильщиками, кровь моя пытается циркулировать в обратном направлении. Она натыкается на саму себя, отчаянно желая вернуться в то время, когда я говорил “Бен Брэдли, дружище, позволь воспользоваться твоей зажигалкой”, только без ирландского акцента, а это еще один признак, что я сегодня не в своей тарелке. У меня опять болят легкие и рука, меня бесит тупость Джонси Пола, который

бубнит, что я оставил на кухне включенный обогреватель, а на нем банку с какой-то корой или еще чем, и не пора ли его выключить, а я уже собираюсь спросить, не пора ли ему сунуть башку в духовку, когда Уолтер в своей воистину идиотской охотничьей шапке стучит чашечкой трубки, словно молотком, по краю пепельницы на подлокотнике.

Он объявляет экстренное собрание Клуба самоубийц открытым. Затем без лишних слов объявляет, что Грегори Симпсон аннулировал свое членство.

Ну вот. Я так понимаю, всеобщее молчание — знак поддержки.

Старый Бен Брэдли говорит:

— Но ведь он здесь живет.

— Не в этом дело, — перебивает Уолтер, проверяя, все ли еще завязана его шапка на макушке. — Дело в том, — тут он для пущей вескости опять стучит по пепельнице, — что Симпсон больше не курит, а посему не может считаться членом Клуба самоубийц.

Вообще-то я бы рад исправить это упущение немедленно, потому что “Джей-пи-эс” Брэдли лежат всего в нескольких дюймах от меня рядом с приглашением на “Микадо” и говорят *“Привет!”*,

говорят *“Привет, малышка!”*, говорят “да выкури ты меня ради бога, какая разница?”.

Джонси Пол говорит:

— Он может опять начать.

Уолтер с сожалением качает головой:

— Прошло больше двух недель.

Тут все пристально смотрят на меня. Две *недели*?

— Но кажется, что намного больше, — говорю я.

— Вообще-то я тоже не курю, — говорит Ланди Фут.

— Это другое дело, — медленно произносит Уолтер. — Ты бы курил, если б мог. Ты верен *духу.*

— А как насчет Гемоглобина?

Такие отклонения от темы Клуб самоубийц любит больше всего: например, подробное рассмотрение вопроса, является ли Гемоглобин членом Клуба, или меньше ли он член, чем Бананас, чье пристрастие к табаку намного сильнее. Затем следует минута молчания и опущенных глаз в честь Бананаса, несомненно, величайшего кота из когда-либо живших, пока Уолтер своей трубкой опять раздраженно не призывает собрание к порядку, требуя, чтобы кто-нибудь сказал ему, как я еще могу являться членом.

Очередное молчание.

Джонси Пол говорит:

— Он ведь наш друг?

— Это же не клуб для тех, кто *записывает*, так?

— Зато у меня заняты руки, — говорю я.

— Если ты стал писать, чтобы бросить курить, — спрашивает Ланди Фут, — то как собираешься бросить писать?

— Мы можем назначить его почетным пожизненным членом, — предлагает доктор Хеккет.

— Здесь важен *дух,* — настаивает Уолтер.

Джонси Пол подходит и предлагает мне "Лэмберт-энд-Батлер". Он вытягивает две сигареты из пачки медленно, как во всех лучших рекламах. Я говорю "нет, спасибо" и начинаю писать как угорелый, слыша, как Бен Брэдли говорит, что не видел, чтобы я курил на похоронах Хамфри Кинга, а доктор Хеккет говорит "отличная работа, совершенно правильно, Грегори", а Джонси Пол сует сигарету в рот и принимается хлопать, а потом к нему кто-то присоединяется, но я не знаю кто, потому что моя голова опущена, а поляк Ян Пето молча выкладывает на стол содержимое карманов: трубку, пачку ершиков для трубки, четыре сигары "Панателла" из пачки, вмещающей шесть штук, пластиковый кисет с "Эринмором",

пачку “Честерфилд”, мятую пачку “Голден Вирджиния” и одну красную папиросную бумажку “Ризла” с оторванным уголком, — и посреди всего этого говорит “дружище, я тоже бросаю”.

Я наконец поднимаю голову. Ян стоит рядом и ободряюще улыбается, потому что знает, что сделал красивый жест. Он постоянно так делает, и все же это красивый жест. Уолтер, признав поражение, хмуро откидывается в кресле и скрещивает руки.

— Предполагается, что нам это *нравится,* — говорит он.

Джулиан сказал, что мне и через тысячу лет не бросить курить, поэтому, явившись домой из Центра и запыхавшись от бега, я спросил Тео, как он думает, так ли это.

— Если ты столько протянешь, я бы не брал в голову, — сказал он.

— А по правде?

— Не знаю, мне уже поздно об этом думать.

Он собирался навестить Эмми в трущобах. Он вручил мне табак в горшке и красную нейлоновую хозяйственную сумку, чтобы я донес их до такси. Сумка полная, но на удивление легкая, как в былые деньки, только теперь она была набита цветами, уложенными вдоль, — огромными

оранжевыми и белыми маргаритками для Эмми. Тео же изменился, так почему я не могу?

Я вернулся в гостиную, где Уолтер обсуждал доминошную тактику с Джонси Полом и Хамфри Кингом, и спросил их, как они думают, смогу ли я бросить.

— Чего ради тебе это делать?

— Но как вы думаете, я *смогу*?

— Почем я знаю, — сказал Уолтер и все они принялись натягивать пальто. Хамфри Кинг сказал: “Счастливо оставаться”, и когда за ними закрылась дверь, я достал сигарету, но потом вспомнил самодовольную мину Джулиана, когда он сказал, что я не брошу.

— Ты не можешь себе этого позволить, — сказал Джулиан. — У тебя дом и все остальное. К тому же ты не такой человек.

— Как знать.

— Нет, поверь мне. Мы поэтому тебя и выбрали.

После взлома все, что говорил Джулиан, звучало зловеще. Я вспомнил, что он говорил о доме до того, как назвал Уолтера пожароопасным.

— Он ведь, кажется, не очень хорошо *защищен*?

Тогда я подумал, что он беспокоится за нас, но

теперь, после того, что Тео сказал про лабораторию, я искал способ поддеть Джулиана — пускай только доказать, что мы не совсем беззащитны. Я сказал первое, что пришло в голову:

— Я могу бросить курить.

Он громко расхохотался.

И вот теперь, сидя дома, я услышал, как кто-то колотит медным молотком в дверь. Я так и не закурил и поэтому обрадовался, что меня отвлекли. Пришел Джейми.

— А где все? — удивился он, оглядев пустую комнату.

— Где-то бродят. Джейми, как ты думаешь, я смогу бросить курить, если захочу?

— Конечно. Можно мне еще раз пройти испытания?

Он запрыгнул в кожаное кресло, и я спросил, какое растение лечит рак. Это его ненадолго утихомирит, пока меня не отпустит воспоминание, как Джулиан угрожал мне, чтобы я не пытался угрожать ему. Джулиан сказал, что я слабый, нерешительный и дерганый. Что у меня отсутствует дисциплина. Что я ничего не умею и мне нечего ждать от будущего. “Ты никогда не бросишь, — сказал он. — Мы нужны тебе так же, как ты нужен нам”.

— Морковка, — сказал Джейми.

— Ты говорил с Уолтером?

— Это все знают.

— Что ж, хорошо. Кто финансировал однодневные международные соревнования по крокету в Австралии в семидесятых?

Джулиан сказал, что я не смогу сосредоточиться. Что я буду вспоминать каждую сигарету, которую когда-либо выкурил. Что мне придется изменить образ мыслей, а я не из тех, кто так поступает. Что привычки мои навязчивы и однообразны. Что я боюсь принимать решения и оттого лишь сильнее привязан к ритуалам зависимости, которые решений не требуют. Джулиан сказал, что замены не существует. Сказал, что у меня нет шансов, и, думаю, был весьма доволен сказанным.

— “Бенсон-энд-Хеджес”.

Мне его слова не понравились. Они оскорбляли мою мужественность.

— *“Бенсон-энд-Хеджес ”*.

— Да, совершенно правильно, Джейми. Так ты правда думаешь, что я смогу бросить, если захочу?

— Я могу вступить?

— Ты как думаешь, я слабак?

— Задай мне еще вопрос. Любой.

— Джейми, неужели тебе никто не говорил, что сигареты опасны для здоровья?

— И потруднее.

— Чего ты хочешь в жизни больше всего?

— Денег, быстрых тачек. Сигарет.

— Чего бы ты ни хотел, — мрачно сказал я, — тебе этого не получить. В том виде, в каком ты этого хочешь. Меня этому научила мать.

— Я только сигарету хочу, — сказал он.

Я сдался и бросил ему “Кармен”. Прикурили мы от одной спички.

Брюхо низкого облака смягчало свет уличных фонарей и не выпускало дневной жар из города. Я направлялся в кино, вырядившись в черный кожаный пиджак, ботинки на толстой подошве и самую светскую одежду посередине. В заднем кармане уютно устроилась пачка денег дяди Грегори, и, раздумывая о красноречивых покупках, которые я сделаю для Джинни, я миновал пожилую даму в синей спортивной куртке — дама задала мне вопрос, которого я не понял. Я не торопился, поэтому с вежливостью, унаследованной от родителей, остановился и спросил, не будет ли она добра повторить.

— Несколько франков, — сказала она.

Я прошелся по карманам, стараясь не натыкаться на деньги дяди Грегори, и во внутреннем кармане пиджака нащупал пачку “Голуаз”. Я думал, дама возьмет только одну, но она поблагодарила меня и взяла всю пачку, не представляя, какая та счастливая. Она ушла, не успел я объяснить.

Когда я добрался до кинотеатра, Джинни уже стояла в очереди. На ней были широченные хлопчатобумажные штаны, костяшки пальцев спрятались под длинными рукавами белой кофты. Джинни надела очки в круглой оправе. Я так нуждался в утешении, я мог легко выбрать этот миг, чтобы влюбиться в нее, но меня отвлекла некурящая толстая парочка, стоявшая за ней в очереди. Они ели багет с камамбером, который размазали по хлебу перочинным ножом. Родители Люси, подумал я, на гастрономических выходных за границей.

Решив, что у них имеются указания все сообщать Люси, я прилюдно поцеловал Джинни в обе щеки. Когда она наклонилась вперед, ее штаны сбоку оттопырились, и я увидел под кофтой ее обнаженную тазовую косточку. Думаю, я покраснел и попытался это скрыть, сказав, что тоже не видел фильма “Вперед, путешественник”, но тут,

к счастью, очередь начала двигаться.

Вскоре я обнаружил, что каждому, кто пытается забыть об утрате пачки счастливых сигарет, следует избегать фильма “Вперед, путешественник”. Сигареты в этом фильме на редкость выразительны, ухитряются прозрачно изъясняться в неловком зазоре между речью и действием. Например, в самой первой сцене Бетт Дэвис тайком курит в спальне, тем самым раскрывая свою подавленную и даже суицидальную натуру. На этом этапе Дэвис выглядит ужасно, к тому же у нее что-то не то с правым верхним резцом. Впрочем, могущество табака означает, что Дэвис расцветает, как только начинает курить на людях. Даже ее зуб приходит в норму. Затем она влюбляется в персонажа Пола Хенрида, который соблазняет ее тем, что вставляет в рот две сигареты, прикуривает обе, а затем одну передает ей. Хотя к концу фильма “Вперед, путешественник” и Хенрид, и Дэвис страдают от любви, оба явно не страдают от рака легких.

Если отбросить сигареты, это простая история европейца, который катастрофически влюбился в американку, и, полагаю, мы с Джинни раздумывали, какие сделать выводы, когда спускались потом к реке. Никакой романтической луны,

однако все еще тепло. На полпути через мост Александра мы остановились и посмотрели на медлительную воду внизу, где метались мотыльками отражения фонарей на мосту.

Локоть Джинни прикоснулся к моему. Она показала вверх по течению, где на мерцающей поверхности расплылся идеальный круг.

— Рыба, — сказала она. Взяла меня под руку. — Смотри, еще одна.

Она указала на рябь, где дышало еще несколько рыб, а затем река начала полниться рыбами, и каждая дышала, и каждая рисовала идеальный круг на воде. Они постепенно смещались вниз по течению, они плыли к нам, все ближе, а мы все ниже наклонялись через перила, следя за ними, и упала дождевая капля, затем еще одна, и еще, и еще, и мы поняли, что пошел дождь.

Джинни рассмеялась и прижалась лбом к моей руке. Мы посмотрели на небо, а потом друг на друга. Она слизнула дождевые капельки с губ и сняла забрызганные очки. И вот, стоя посреди моста Александра, мы впервые поцеловались, а под нами целая армада рыб покидала Париж.

Затем мы кончили целоваться. Я сказал, что мне надо идти. Я клял дождь, но дело было вовсе не в дожде.

Разумеется, я смогу, если захочу. Впрочем, главное здесь — не упрощать. Это не решительный выбор, и тут замешана куча всего. Есть убедительные доводы как за то, чтобы бросить (подумай о своем здоровье), так и за то, чтобы продолжать (чем занимать руки).

Бросить: Я знаю факты и цифры. Знаю статистику смертности.

Курить: Мне это нравится. К тому же статистика объясняет далеко не все.

Бросить: Боль в легких и как иногда я прижимаю руку к сердцу. Подумай о беспокойстве.

Курить: Подумай о беспокойстве и садах в крематориях, что заросли розами в честь умерших некурящих. Никогда не забывай о разнице между жизнью и выживанием.

Бросить: Это расстроит Джулиана, но, если не рассматривать Джулиана, Тео — не статистика, и Тео умирал. Помни дядю Грегори, жену Уолтера и Джона Уэйна. Помни, что похороны номер 2 в середине следующего века предпочтительнее похорон номер 1 в ближайшем будущем. Подумай сколько освободится минут, которые можно будет потратить на что-нибудь другое. На что угодно. И. Но.

Курить: В Центре мне неделя за неделей говори-

ли, что я здоров как бык, а причинно-следственную связь еще надо научно продемонстрировать. Возможно, за смертность отвечает какая-то одна определенная марка или расхожее сочетание сигарет с чем-то еще. Никто не знает. Раковая сигарета может быть независимым событием, так что выкуривание каждой сигареты — это как отдельное пари, не имеющее ничего общего с предыдущей сигаретой. Опасность может крыться в сигарете номер три во второй вторник каждого месяца, или в той, которую ты не выкурил, потому что был слишком пьян, чтобы вытащить ее из пачки, или в той, что ты специально припас для лучшего друга под конец долгого дня. И к тому же я люблю деньги, которые мне платит “Бьюкэнен”. А китайцы могут сбросить бомбу. И это лучше, нежели римская неудовлетворенность и двадцать фаршированных сонь в день.

Бросить: Хорошо. Забудь все остальное. Джулиан действительно расстроится, если я брошу.

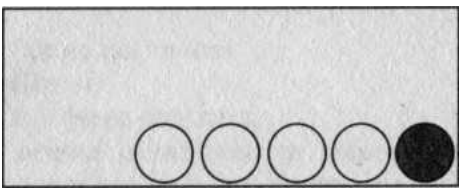
Курить: Все остальное. Надо выражать солидарность с трущобами и Тео. Вкус Люси Хинтон в каждой новой сигарете и, как говорил Парацельс, важно количество. И как я могу зажечь спичку и открыто держать в руке опасность в совершенно

банальной и ручной обстановке. Страх растолстеть. Богарт и как отшелушивается частичка Богарта. Химическое удовлетворение и семь секунд. Менее внятное удовольствие бросать открытый вызов смертности. А кроме того, куда более глубокий страх, что без сигарет я лишусь желаний вообще.

Бросить: Представь реакцию Джулиана и как может ошибиться человек.

Я закурил еще одну сигарету. Наверняка есть и другие способы взодрать Джулиана.

День 16



— Если бы ты так ее любил, ты бы не поцеловал меня.

— Все не так просто.

— Почему?

— Все очень запутанно.

Я решил отказаться от перекура. Затем Джинни решила, что она сегодня тоже не курит, хотя мадам Бойярд дважды сказала нам, что мы можем выйти, если хотим. Часам к одиннадцати мадам Бойярд пожевывала кончик карандаша, сердито шелестела оперным справочником Кобба и гадала, сколько мы еще протянем.

Джинни все время посматривала на меня поверх своего компьютера, пока я не почувствовал себя крысой в одном из опытов Джулиана Карра.

В очередном письме из Гамбурга он уверял меня, что крысы не считаются животными, потому что они паразиты, к тому же опыт опыту рознь. Затем он описал опыт, который придумал. Одну крысу помешали в лабиринт с шестью выходами, и на пути к каждому выходу она должна преодолевать какое-нибудь препятствие. Когда крысе удавалось добраться до выхода, ее вознаграждали кусочком сыра. Но едва крыса сообразила, что награда всегда одинакова, она улеглась посреди лабиринта и перестала двигаться. В конце концов она умерла. Тогда Джулиан заменил сыр у одного из шести выходов емкостью, заполненной табачным дымом. Потом он заменил крысу. Вторая крыса выучила дорогу ко всем выходам и регулярно наведывалась к тем пяти, что содержали сыр. Она казалась оживленной и счастливой, даже для крысы. Вывод Джулиана: *Мир прекрасен.*

Мадам Бойярд отодвинула свой стул и обвинила нас в том, что мы сумасшедшие, а затем в том, что мы англичане. Не успела она дойти и до середины лестницы, открыть пачку “Кэмел” и сжать в пальцах фильтр, как Джинни сказала:

— То я тебе нравлюсь, то нет. Наш поцелуй *что-нибудь* для тебя значит?

— Конечно, значит.

— Ты явно ее не любишь.

— А ты говорила, люблю.

— Это было до того, как ты сводил меня в кино, а потом поцеловал.

— Я не могу ее просто бросить.

— Почему?

Потому что после поцелуя с Джинни на мосту я беспрестанно думал о Люси. По ночам, лежа на узкой постели в крошечной комнатке размером всего в одну восьмую человеческого легкого, я пытался думать о Джинни, но не мог. Не бывало ни секунды, что как-нибудь не напомнила бы мне о Люси. Я видел молодых парижан обоего пола, куривших на улице. Я улавливал их пренебрежение и тут же понимал, что они бросают вызов лично мне: сигарета, которую они курят, — прямой результат того, что недавно их соблазнила Люси Хинтон. Я напоминал себе, сколь банальна разновидность счастья, предлагаемая сигаретами, но уже сомневался, что сам в это верю.

Я больше не видел себя супергероем, и каждый прожитый день словно попадал ко мне в руки использованным и немного замусоленным. Поцелуй с Джинни напомнил мне, что я так и не залез на гору, не пристукнул дракона, не выкурил сигарету, а если я не сделал всего этого, что я во-

обще могу? Теперь, стоило мне завидеть Люси на улице, она затягивалась сигаретой и презрительно смотрела на меня, ее лицо принимало форму сердца и было преисполнено укора. Когда я ее не видел, было еще хуже. Затем я обнаружил, что беспокойно раздумываю, какие туфли она носит и не сменила ли марку сигарет, а если сменила, то какого именно цвета пачку она держит в руках день за днем. Я имею в виду — прямо сейчас, сегодня, где бы она ни была.

Это выматывало. Я затосковал по домашнему беспамятству и нетрудному провалу, когда я полдня валялся на постели и радовался, что дышу. Я не забыл чувство, что ежеутреннее пробуждение само по себе не победа, но теперь представлял себе ежеутреннее пробуждение с Люси, а это совсем другое дело.

— Если хочешь, приходи посмотреть на мою репетицию, — сказала Джинни. — Скоро последний отбор.

— Что?

— Студентов для “Так поступают все женщины”.

Я попытался сосредоточиться и на мгновение задумался, как звучит опера с американским акцентом. Но тут вернулась мадам Бойярд, про-

пахшая табачным дымом, и я вспомнил, почему этого не услышу.

Я задавил “Кармен” в большой ониксовой пепельнице на журнальном столике в кабинете Джулиана. Затем осторожно положил пустую пачку “Кармен” рядом с ней, двойными кастаньетами кверху, медицинским предупреждением — книзу. Достал новую пачку из кармана рубашки, сорвал целлофан и положил его рядом с пустой пачкой и потушенной сигаретой. Левой рукой держа новую пачку за донышко, я отогнул крышку пальцами правой руки. Вытянул полоску шершавой фольги с надписью “ВЫТЯНУТЬ”. Положил ее поверх целлофана в пепельнице. Из новой пачки в левой руке ногтями вытащил два новых фильтра двух новых сигарет. Достал их из пачки. Одну сунул в рот. Другую перевернул вверх ногами и засунул в пачку табаком кверху. Наконец взял неприкаянную зажигалку Джулиана, закурил ту сигарету, что во рту, и, хотя еще не наступил вечер, принялся наслаждаться двадцать первой сигаретой за день.

Джулиан спросил меня, зачем я пытаюсь его спровоцировать.

Недавно Тео провел ночь в больнице для удаления кисты, которую сочли причиной боли в ноге

и пояснице. Врачи также провели биопсию, которая выявила неоперабельную опухоль в легком. Тео оставался спокоен, даже весел, заявлял, что за годы, проведенные в Центре, узнал, как велика приспосабливаемость жизненно важных органов человеческого тела. Не говоря об органах сирийских хомячков, домашних кошек и послушных гончих. Мне трудно было разделять его браваду, особенно когда он стал называть опухоль внутренней татуировкой, круговертью въевшихся раковых клеток, разбросанных по внутренней поверхности его груди. Надпись гласила: *Мама.*

Я винил в этой болезни Джулиана Карра. Если бы только он предоставил нам медицинские ресурсы “Бьюкэнен”, когда я просил. Если бы только он не упоминал рот Люси Хинтон. Я задавил двадцать первую сигарету за день и закурил двадцать вторую.

— Дай мне пачку, — сказал Джулиан. — Ты знаешь, что это не по правилам.

— Джулиан, я не твоя статистика.

— Дай мне пачку.

— Я не твой подопытный кролик. Я наделен свободой выбора.

— Нет. За это мы тебе и платим.

Я затянулся еще раз, а Джулиан глубоко вздох-

нул и выругался. Он наклонился вперед, схватил сигарету из прозрачной коробки на столике, закурил и глубоко затянулся. Попросил не пялиться так изумленно.

— Ты же вроде как бросил, — сказал я.

— Я убиваю группу мозговых клеток, — сказал он. — Чтобы низвести себя до среднего уровня. — Он выпустил дым через нос. — Думаешь, я сплошь пиджак и галстук, а? Думаешь, вот и все, чем я стал. Знаешь, вообще-то у меня тоже есть трудности.

— Конечно. Чью бы жизнь разрушить следующей.

Он взглянул на кончик сигареты, скорчил рожу и раздавил ее в пепельнице.

— Пролежали в этой коробке бог знает сколько. Дай-ка мне “Кармен”.

Я протянул ему “Кармен” и посмотрел, как он закуривает.

— А я-то думал, ты бросил, — сказал я.

— Мне нынче туго приходится.

— Я сейчас расплáчусь.

— Пожалуйста, Грегори, будь помягче.

— С чего бы?

— От меня ушла жена.

Я хотел закурить еще одну сигарету, но пачка

“Кармен” теперь была у Джулиана, а я не хотел у него просить.

— Мне очень жаль, — сказал я.

Он пожал плечами:

— Такова любовь.

— И семейная жизнь, — сказал я.

— Теперь мы в одинаковом положении, Грегори. Мы оба одиноки.

— Говори за себя.

— Можно у тебя кое-что спросить?

— Я не одинок, Джулиан. Это не одно и то же.

— Что ты делаешь по вечерам?

Сказав это, он резко затянулся, поэтому я не понял, серьезно он или нет.

— Ты бы иногда заходил ко мне, — пробормотал Джулиан, и тут я подумал, что он это всерьез. — Мы бы заказали пиццу. — Как будто пласт боли поднимался на поверхность, позабыв о своем весе. — Одинокие мужчины так и поступают, да?

— Не знаю, Джулиан. Я живу с Тео.

— Ты мой самый старый друг, — сказал Джулиан. — А я тебе даже не нравлюсь.

— Я никогда не говорил, что ты мне не нравишься.

— Скажи мне, почему я тебе не нравлюсь.

— Ладно. Люси Хинтон. Рот Люси Хинтон.

— У нее был восхитительный рот.

— Не делай этого, Джулиан. Не издевайся надо мной. Что она делала своим ртом?

— Ела, говорила, не знаю, курила. Он был восхитителен, вот и все.

— Так ты с ней целовался?

— Нет. Хотел, но не вышло. В основном она целовалась с тобой.

— Так ты с ней никогда не целовался?

— Никогда, — сказал он. — Но всегда хотел.

Он так это сказал, что я ему поверил. Впервые за все время, что я знал Джулиана, я ощутил свое превосходство над ним и понял, что это мне нравится. Мне даже стало немного жаль его, но я поднялся выше этого.

— Люси Хинтон, — сказал я. — Она была одной из величайших целовальщиц всех времен.

— Я делал ужасные вещи, — говорит Уолтер. — Я крутил сигареты из страниц армейской Библии.

— Не ты один.

— Я выкурил весь Новый Завет. И я не должен был убивать мать Эмми. Господи, я убил свою собственную жену.

— Это сделал не ты. Не глупи.

— Пассивное курение. — Уолтер выглядит мрачнее тучи. — У нее не было шансов.

Без Эмми и членов Клуба самоубийц плакаты, снимки и изречение Парацельса над дверью четче. Мы с Уолтером впервые за несколько дней остались наедине, и поскольку он вежливо меня просит, я даю ему кое-что почитать. К сожалению, в своем кремово-белом стетсоне он совсем не выглядит счастливее. Он поднимает голову и говорит:

— Эта девушка Люси. Тебе не стоило так поступать.

— Знаю. Но теперь с этим покончено, как и с сигаретами. Все в прошлом.

— Тебе стоит почаще выбираться. Эмми права.

— А тебе стоит бросить курить. Эмми права.

— Что ж, она права. Вот это тоже кошмар. Мне было сорок пять, когда она родилась, но я бы изменился, будь я моложе. Я бы бросил. Она была такая красавица, совсем как ее мать.

— Это ничего бы не изменило.

— Как знать? Все мы хотим стать лучше, чем мы есть, даже Стелла.

— Пожалуйста, Уолтер, я уже по горло сыт рассказами про Стеллу.

— За словом в карман не лезет.

— Никто не заставит меня с ней встречаться.

— И хорошенькая.

— Только если я сам этого не захочу.

— Восхитительна как “МСС”.

— Уолтер, где твои манеры?

— Ладно, она мымра.

— Правда?

— Выясни сам.

— Я ей наверняка не понравлюсь.

— Ты наверняка прав. Это тебе не сигарета. Удовольствие не гарантируется.

— Я хочу сигарету.

— Ты хочешь удовольствия, а это не одно и то же.

— Нет, я действительно хочу сигарету. Ну то есть — прямо сейчас.

Уолтер швыряет мне страницы, которые я ему дал, и советует вместо этого что-нибудь записать, поэтому я прошу его рассказать мне историю, и он тут же начинает с 1916 года, утра битвы на Сомме.

Он — рядовой Черной стражи, его взводу приказано выстроиться в шеренгу перед младшим лейтенантом королевских драгун. Продрогший, вымокший и уставший взвод марширует прочь от окопов. На заброшенной ферме Уолтеру и остальным солдатам приказывают привести оружие в боевую готовность, а перед ними вы-

талкивают проворовавшегося снабженца. Ему связывают руки за спиной и ставят к разрушенной стенке фермы. Ему завязывают глаза. Он дрожит с головы до ног, и о последней просьбе его не спрашивают. Ему дают сигарету. Его зубы так стучат, что, когда сигарету вставляют ему в губы, он перекусывает ее пополам. Он в ужасе выплевывает крошки табака, чуть не попав в офицера, который в омерзении отступает и дает приказ открыть огонь.

Уолтер вместе с остальным взводом расстреливает неизвестного вора. Правосудие тут ни при чем. Офицер не валится замертво от пассивного курения. Не делает он и ошибки военных времен — не зажигает третьей спички. Он раздает дополнительный табачный паек — плату за расстрел.

Уолтер вспоминает, как курил расстрельные сигареты, и делал это по той же причине, что и все остальные: когда не мучился от скуки, он, как и все, боялся умереть. Потому что в разгаре войны только это он мог и хотеть, и получить. Потому что лишь очень уверенный и очень глупый человек отказывался от возможности обрести утешение.

А сейчас люди воображают, будто поступают иначе.

Доктор и миссис Джулиан Карр жили на улице, где стояли отделенные друг от друга дома — более прогрессивный вариант улицы, где жили мои родители. Теперь Джулиан жил там один. Хотя я понял, что сами по себе вещи не обеспечивают счастья, дом Джулиана довольно убедительно это счастье имитировал, и у меня сложилось впечатление, будто Джулиан кому-то платил, чтобы его дом поддерживали неизменным с тех пор, как ушла Джулианова жена. По-моему, это печально. Когда я пришел, Джулиан говорил по телефону, и у меня было время хорошенько рассмотреть свадебные снимки на каминной полке. У Люси Карр были волосы до плеч и прекрасная улыбка, но глаза слишком голубые, а волосы — очень светлые.

— Извини, — сказал Джулиан. — В наше время трудно скрыться от людей. — Едва он начал ослаблять галстук, как телефон опять затрезвонил.

На столике лежал журнал “Мир табака”. Я перелистал его и обнаружил статью, превозносившую расправу Джулиана с демонстрантами из ЛЕГКОЕ. Журнал вышел больше года назад, и на снимке Центр серел, точно ядерная установка. Я швырнул его на столик и подумал, зачем я сюда пришел. Отчасти потому, что меня пригласили, и

потому что не знал, как отказаться — не позволило досадное чувство приличий, унаследованное от родителей. Но еще мне не терпелось укрепить свое превосходство над Джулианом, потому что он никогда не целовал Люси Хинтон.

С извинениями вернулся Джулиан. Он снял пиджак. Он пригласил меня на ужин, но есть было нечего. Впрочем, у него нашлось пиво, поэтому он включил муляж камина, и мы посидели перед ним, попивая французское пиво из маленьких бутылок и откинувшись на спинку дивана. Он закатал рукава, садил, как и я, сигарету за сигаретой, явно наплевав, сколько я уже выкурил за сегодня, и предлагал мне еще пива, будто скорость, с которой мы выпивали каждую бутылку, — показатель приятности времяпрепровождения. Тео оказался прав. Джулиан никогда не был жестоким.

Он мимоходом показал на журнал и спросил, видел ли я статью.

— Нет, — сказал я.

— Не важно. Вся эта заваруха с ЛЕГКОЕ — отвлекающий маневр. Главным образом я тут оставался из-за тебя.

Он откупорил еще две бутылки и сказал, что ему жаль Тео.

— Правда, — сказал он. — Я хотел ему помочь, но мне не дали.

— Кто?

— Компания. Ты меня черт знает кем воображаешь. Я всего лишь работник и делаю то, что мне скажут. Надо было тебе привести его сегодня с собой.

— Кого?

— Тео.

— Он с Эмми.

— Значит, не дома?

— Нет, у нее, у Уолтера. А что?

— Я бы хотел узнать его получше.

С каждой бутылкой пива мне становилось все труднее недолюбливать Джулиана. Он извинился за то, что говорил о Люси Хинтон, и валил все на развал своей супружеской жизни.

— Не то чтобы я делал что-то не так, — сказал он. — Мы хотели завести детей.

Джулиан умолк. Он прикрыл один глаз и смотрел в горлышко пивной бутылки, когда я заметил, что все картины в комнате были или снимками, или портретами его жены, в основном светскими фотографиями на гоночных трассах, где Люси Карр позировала на высоких сиденьях пронумерованных мотоциклов. У нее были интересные

коленки. На пастельных портретах подчеркивался нежный сгиб ее локтей.

— Я пытался, — сказал Джулиан. — Даже бросил курить ради ребенка. Но это ничего не дало.

— Я не знал, — сказал я, машинально раздумывая, сколько всего еще я о нем не знал.

— Все из-за тех моих студенческих экспериментов. Грегори, ты когда-нибудь влюблялся?

— Думаю, да, — сказал я. — Не знаю.

— Тогда наверняка нет, — сказал он. — Наедине с собой мне одиноко.

Я сочувственно кивнул и спокойно глотнул еще пива, постепенно убеждаясь, что наравне с превосходством могу без опасений позволить себе капельку жалости. Бедняга Джулиан.

— У тебя хотя бы есть все эти старикашки, — сказал Джулиан. — А на ночь они, наверное, отправляются по домам?

— Конечно.

— Значит, оба наших дома пустуют. Мы и правда одинаковые.

Я заверил Джулиана, что от жалости к себе он бредит: мой дом ничем не походит на его. Никогда не пустует. Даже без Клуба самоубийц и Джейми там всегда находятся животные и, разумеется, привидение. Тео никогда подолгу не

отсутствует, а у Уолтера имеется ключ, которым он часто пользуется, когда хочет оставить Эмми и Тео наедине. Всегда что-нибудь происходит, пускай и не так, как я наметил, и я без сожаления понимал, что мои попытки держаться от мира подальше с треском провалились.

Джулиан говорил, что теперь у него осталась всего одна задача.

— Это больше похоже на мечту, — сказал он. — Я хочу помочь создать сигарету, не вызывающую рак. Вот зачем мне нужен табак Тео. Ты только представь. Представь, что можешь курить сколько влезет и ничуть не беспокоиться.

— Тогда “Бьюкэнен” наварит.

— “Бьюкэнен” наплевать, — сказал Джулиан. — Если здешний рынок рухнет, они просто займутся миллионами некурящих женщин в Китае. Они не знают, что такое беспокойство.

Опять затрезвонил телефон, и Джулиан пошел отвечать. На сей раз он вернулся озадаченный, с телефоном в руках. Протянул трубку мне.

— Это тебя, — сказал он. — Твой дом горит.

— Что в ней есть такого, чего нет у меня? Что мне надо *сделать*?

Джинни провожала меня домой из библиотеки. Я шел не медленнее обычного, то есть немного

быстрее, чем шла бы Джинни, если бы не пыталась меня догнать. Это означало, что иногда она переходила на бег, чтобы не отстать, к чему была отлично подготовлена пробежками. Я не говорил ей, когда сверну, поэтому иногда врезался в нее или оставлял на противоположном тротуаре. Я редко оглядывался, но это не имело значения, потому что вскоре она опять меня нагоняла.

Все началось из-за того, что я больше не ходил на перекуры. Я не был в опере на ее репетициях и отказывался сходить в кино или даже в "Козини".

— Не сказала бы, что мне твое поведение нравится, — сообщила она.

Наконец она решила это доказать, схватив меня за руку и заставив остановиться. Я смирился и согласился выпить кофе, хотя не представлял, что ей сказать. Я вспомнил, что когда-то находил ее привлекательной, но это было до поцелуя на мосту, а с тех пор я отчаянно жаждал невероятных встреч с Люси. Я начал высматривать гастроли "Волшебной горы" (версия Шенандоа) или плакаты, возвещающие скорый европейский тур "Люси Легкоу и Канцерогенов". Но до сих пор я так и не получил от нее письма, поэтому мне приходилось мириться с крепнущей мыслью, что

я больше никогда ее не увижу.

Это все равно что в поисках смысла проглядеть основной принцип: судьбы не существует, за пределами нашей власти нет никакого механизма, что подводил бы нас все ближе к неминуемому воссоединению. Одновременно, оглядываясь на подробности своей недавней истории, я не находил ни важных взаимосвязей, ни утешения смыслом, что предлагали исторические монографии. Без особого удивления я обнаружил, что ничего не знаю о законах, управляющих событиями моей жизни. Я не знал, как жить, и никогда не узнаю.

Все это было сложновато объяснить Джинни. Она была очень грустная и красивая в мягком свете под навесом “Кармен Блонд”, затенявшим наш столик. В темных очках и рубашке из шотландки, которую я прежде не видел, но было уже слишком поздно. Наша одежда не будет говорить за нас, теперь я это знал, поэтому избегал ее взгляда и смотрел, как улица рядом с нами движется то в одну сторону, то в другую. Мои глаза останавливались на знакомых цифрах, начиная с объема двигателей припаркованных мотоциклов и кончая числом 20, выведенным на рекламной растяжке напротив, под картинами желания, что

вскипает в бесстрашных людях, покоряющих дикие места. На обороте “Фигаро”, которую читали за соседним столиком, я заприметил дату, номер выпуска и время заездов в Венсенне.

— Я подумываю вернуться в Америку, — сказала Джинни и пристально посмотрела на меня. Я постучал кофейной ложечкой по блюдцу, а затем по столу. — Я не получила роль.

Мужчина, читавший газету, закурил “Голуаз”, и Джинни посмотрела на него.

— В Америке бы такое не прошло, — сказала она без особой убежденности.

— В Америке зато есть ружья, — сказал я.

Она посмотрела на меня поверх темных очков в надежде, что это шутка. Под таким углом я видел краешек контактной линзы.

— Я имею в виду — для человекоубийства, — сказал я. — Им больше не нужны сигареты, потому что вместо этого у них есть ружья.

Она улыбнулась, потому что искала повода улыбнуться. Затем шмыгнула носом и поправила темные очки на носу.

— Ты ведь действительно зациклился на сигаретах, а?

— Как и ты на своих певческих легких.

— Думаю, мы оба.

— Я бы так не сказал.

— Я имею в виду — зациклились. Возможно, потому и общаемся.

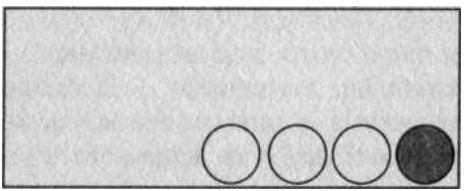
Она накрыла мою руку своей, чтобы я перестал стучать ложечкой, и тут до меня дошло, что я хотя бы на несколько секунд забыл, что не знаю, как жить.

Джинни наклонилась ко мне через стол.

— Я не собираюсь просто так тебя отпускать, — сказала она.

Она сняла темные очки, и я посмотрел на ее губы, а затем в глаза, что уставились на мой рот. Я почти ощущал мягкость. Я почти предвидел то же разочарование, что и в последний раз на мосту, когда это вообще не слишком походило на поцелуй. Никакого сравнения. И в подметки не годилось незабываемому ощущению, будто целуешь пепельницу.

День 17



Уолтер хочет знать, верю ли я, что у человека есть душа.

— Существует ли она, какие имеет размеры, что означает? — спрашивает он, проверяя, не упустил ли чего-то важного. — Потому что не хотелось бы все валить на табак. Это было бы довольно печально.

Он одет в черный берет, нависающий над одним ухом, словно волосы у скульптуры салонного певца. Стоит прекрасный ветреный весенний день, мы только что вернулись из сада. Уолтер приходит в себя после диких кренделей, которые выписывал своей палкой, когда тыкал в похожие на картофель растения, пробивающиеся в траве, а у его ног ковыляет Гемоглобин, озадаченный

тем, что не может вспомнить место, где в последний раз отливал. Тупо пошарившись вокруг, он наконец выбирает ворота — их почти скрыли деревья, на которых начали распускаться почки.

Мы с Уолтером смотрели на овраг, Уолтер опустил руки на рукоять палки и глядел через край.

— Помнишь пепел?

Еще бы. Особенно как он носился вверх-вниз над оврагом, словно семена, что не собираются тут же оседать. Я смотрел на далекие грязные пустыри и медлительную бурую реку.

— Старина Тео, — сказал Уолтер. — Вечно витал в облаках.

Овраг, как обычно, завораживал. Он пробуждал попеременно желание прыгнуть и страх прыжка, а зависал в сомнениях где-то посередине. Я и соглашался, и не соглашался с Уолтером. Воспоминание о траекториях пепла Тео наполняло меня счастьем и печалью. Я был бы рад выбираться почаще, как говорила Эмми, но еще мне было страшно. А вдруг я не понравлюсь Стелле? А вдруг понравлюсь?

Я отвернулся от оврага и посмотрел на остатки дома. Кирпичи задней части обуглились дочерна, из пустых оконных рам поползли широкие листья. Пожар, который начался в лаборатории,

в конце концов остановили отсыревшие стены, что делили дом почти точно пополам. Кирпичи передней части сохранили яркий цвет сигаретного фильтра.

Глядя на двухцветный дом, Уолтер спросил меня, верю ли я в привидений, но он дрожал и выглядел так плачевно, что я предложил вернуться в дом ради Гемоглобина. Теперь Уолтер держит трубку и чашку чая и вроде отогрелся.

— Я имею в виду, — говорит Уолтер, помахивая трубкой в мою сторону, — есть ли в нас частица, которая долговечна и неповторима?

Я бы хотел уделить Уолтеру больше внимания, но мне надо поработать с пеналом фирмы “Хеликс”. Он простоял на обогревателе уже три дня, и листья высохли и покоричневели.

— Я не верю, что мною командуют одни химикалии, — говорит Уолтер. — Хотелось бы думать, что я был бы таким же, если б не курил. Грегори, ты меня слушаешь?

Эти измельченные листья доказывают, что я могу сделать нечто дельное своими руками. Вовсе не обязательно жечь, палить и уродовать землю дымом. Теперь я в творческом запале нарежу кусочки листа на тонкие полоски длиной примерно в ноготь.

— Я предпочитаю верить, что у меня есть душа, — говорит Уолтер. — И что моя душа невосприимчива к никотину.

В пенал фирмы “Хеликс” я выливаю четверть крышечки 8-летнего виски — подарка Джулиана на восьмую годовщину нашей встречи в Гамбурге. Виски должно впитаться в волокна листа, а затем испариться, увлажняя лист и одновременно придавая ему аромат. Хотелось бы думать, что эта идея принадлежит мне, но подозреваю, что так поступали и раньше. Увлажненные волокна похожи на шерстяные нити крошечной коричневой безрукавки, но сейчас я оставляю их в покое. Не хочу перебарщивать.

Наконец — впрочем, только чтобы облегчить процесс испарения — я подпираю открытую крышку пенала фирмы “Хеликс” пачкой красных папиросных бумажек “Ризла” Яна Пето.

— Прости, Уолтер, — говорю я. — Что-то я не совсем уловил.

— После того как вы бросили курить, — сказала мадам Бойярд, — ваша работа изрядно ухудшилась. За последние три недели вы набили всего шесть опер.

Мадам Бойярд сидела под прямым углом к нашим компьютерам, облокотившись на локти и

еще больше расплющив грудь.

— Причем две из них короткие и комические, — сказала она. — Так что либо курите, либо сосредоточьтесь на работе. Я понятно выражаюсь?

— Абсолютно, — сказал я.

— Вам вообще повезло, что вы получили эту работу.

Я подумал о Джулиане, как он замышляет в Гамбурге собственные проекты.

— Еще я не против, — сказала мадам Бойярд, — чтобы вы перестали все время перешептываться.

— Хорошо, — сказал я.

Перешептывался не я. Теперь, когда мы бросили ходить на перекуры, Джинни посылала мне сигналы, пока мы печатали: почему я не обращаю на нее внимания, почему бы нам не сходить покурить, что со мной случилось?

— Если только, разумеется, — сказала мадам Бойярд, — у вас нет еще какой-то проблемы, о которой я не знаю.

Все это глупо. Я пошел на работу лишь ради того, чтобы занять руки, а теперь мне говорят, что я работаю плохо. Из-за этого я завидовал Джулиану, который подробно расписывал свою

жизнь в Гамбурге в длинных письмах — я на них по-прежнему не отвечал. Отчасти из-за Люси Хинтон, но отчасти из-за того, что он явно делал успехи и меня обгонял.

Теперь он сосредоточился исключительно на проблеме сбора данных. Он сказал, что опыты, в конце концов, можно проводить и на людях — разумеется, в жестких рамках контракта, — а широко известную склонность курильщиков к вранью можно выправить предложением крупных денежных сумм. Меня восхитили цифры, которые он приводил, но я тогда не знал, что "Бьюкэнен" только в Европе ежегодно продает 12 биллионов сигарет. Джулиан: *Мы не отдаем* всю *прибыль опере.*

— Вот это я и имею в виду, — сказала мадам Бойярд. — Грегори, ты не сосредотачиваешься.

— Простите, — сказал я. — Это рассеянность.

— Врешь, — сказала Джинни.

Мадам Бойярд выжидательно взглянула на нее. Джинни пожала плечами:

— Все очень просто. Я его люблю, он меня — нет. А страдает оперный архив.

Затем Джинни очень сухо, будто устав от перешептываний, рассказала мадам Бойярд все. От разрыва со своим парнем она перешла к нашему

вечеру в “Козини”, фильму “Вперед, путешественник” и судьбоносному поцелую на мосту, который оказался столь страстным и долгим, что я его еле узнал. Мне стало жаль мадам Бойярд. Забыв, что она француженка, я счел, что она ошарашена. Она, как и Джинни, обожала оперу.

— Неудивительно, что вы не продвигаетесь в работе, — сказала она и погладила Джинни по руке. Затем повернулась ко мне и спросила, что со мной. — В тебя не каждый день влюбляются, — сказала она, а затем весьма точно перечислила все достижения Джинни и ее привлекательные физические черты, включая строение костей.

Я, ошарашенный англичанин, забормотал в клавиатуру, мол, Джинни мне очень нравится, да и вообще она восхитительна, но у меня уже есть девушка в Англии, так что об этом и речи быть не может.

— У него даже нет снимка, — сказала Джинни. — И он отказывается о ней говорить. Я знаю только, что у нее черные волосы и она курит.

— Может, он ее все равно любит, — предположила мадам Бойярд. — Если честно. Такое возможно.

— На мой взгляд, это не любовь, — сказала Джинни, и мадам Бойярд кивнула. — Любовь —

это скорее перемена образа мыслей. Этому нельзя противиться. Это как зависимость, она непреодолима. Она отравляет. Если бы она так его любила, его бы здесь не было. Я права или нет?

По возможности кратко я сообщил им, что никто не может доказать, любят ли они кого-нибудь, и к тому же это не их дело.

— Это вам не опера, — сказал я.

Мадам Бойярд и Джинни на мгновение задумались, а затем дружно пришли к выводу, что я ошибаюсь и что любовь в современном мире все еще *может* походить на оперу. Просто в наши дни нужно давать раздолье сильным чувствам, вот и все.

У Джулиана Карра таких трудностей не было. У Джулиана Карра было все. У него была ответственность: он проводил собственные опыты. Он принимал решения, уточняя, сколько именно сигарет в день надо выкуривать. Он решал проблемы, распоряжаясь, чтобы каждый употреблял неизменное количество никотина и смолы, куря только одну марку. Он настаивал на регулярных обследованиях, дабы убедиться, что его данные показательнее тех, что поступают от обезьян. Но он также проявил гибкость, особенно когда понял, что строгость его системы отпугивает всех,

кроме самых отчаявшихся. *Никчемные людишки,* писал он и клял их бессистемные и ненаучные жизни. Они вечно не соблюдали расписание. Пропускали встречи и принимали сигареты от незнакомцев. Курили слишком много, когда напивались, и слишком мало, когда мучились похмельем. А главное, все они курили до начала испытаний, поэтому Джулиан не знал, насколько предыдущее курение искажало результаты.

И все же он стоял на своем. Он считал, что найдет надежного некурящего человека, если "Бьюкэнен" даст ему время и финансовую поддержку новой системы выплат. Она начиналась с небольшой выплаты, которая каждый год удваивалась. Чем дольше испытания, тем ценнее данные для "Бьюкэнен" и крупнее выплаты. Естественно, это зависело от выполнения всех требований контракта, наверняка включавших и проживание поблизости от Центра исследований, но после первых нескольких месяцев никотин станет неповторимой приманкой сам по себе. *Для полного счастья,* писал Джулиан, *мне надо лишь найти своего мистера Икс.*

Я завидовал ему, потому что он знал, чего хочет. И почти наверняка получил это — скорее всего еще до того, как я перестал пялиться в экран

компьютера и перепечатывать всеми забытые оперы, пока женщины обсуждали мою неспособность по-настоящему любить.

— Мужчины не в силах изменить образ мыслей, — сказала мадам Бойярд, — поскольку думают, что и без того идеальны или хотя бы наполовину пригодны. Они не могут уяснить, что любовь подобна смерти и загробная любовь в загробной жизни отличается от привычной жизни.

— Надо бы не обращать на них внимания, — сказала Джинни. — Но потом влюбляешься и не можешь остановиться.

— Конечно, можешь, — сказал я. — Просто займись чем-нибудь.

— Все остальное бессмысленно. Даже мое пение. Я бросила бегать.

— Значит, ты не можешь быть влюблена, — сказал я. — Считается, что это полезно.

Мадам Бойярд и Джинни вздохнули в унисон. Они настроены на одну волну. Затем мадам Бойярд спросила меня, не боюсь ли я женщин, и тогда я встал и надел пиджак.

— Постой, Грегори.

Мадам Бойярд встала и загородила мне выход.

— Успокойся, — сказала она. — Вот. — Она взя-

ла свою сумочку, и я решил, что она собирается дать мне денег, но она достала две сигареты и положила их на стол. — Возьмите, — сказала она. — И успокойтесь.

— Я же бросил, помните?

— Я никому не скажу.

Я должен был недвусмысленно заявить ей, что это не имеет ничего общего с курением. Но меня сбила с толку Джинни: она проворно схватила одну сигарету и опустила ее в верхний карман джинсовой курточки. Невинно посмотрела на меня, и тут, как бы ни отличались Люси и Джинни, я подметил между ними одно большое сходство. Все без исключения женщины безумны. Это объясняло множество загадочных вещей, которые иначе невозможно понять.

— Он же был огнеупорным, — сказал я. — На нем была этикетка Британского института стандартов.

Я закрыл глаза, надеясь, что этого не произошло, но на фоне запаха горелого дерева и обуглившихся кирпичей явственно чувствовался душок зеленого табака. Я слышал шипение пара и крики людей. Слышал лай Гемоглобина. Я открыл глаза и увидел, как он увлеченно наматывает круги в свете фар пожарных машин, припаркованных

между нами и домом. Полосы голубого света шарили по темному саду и расцвечивали подходивших Эмми, Тео и Уолтера. Только Джулиан сохранял спокойствие, он стоял в тени пожарной машины и разговаривал с пожарником, выяснял, что произошло.

— Может, он внутри, — сказал я.

— Нет, — сказал Тео.

Нам приходилось перекрикивать ветер и шипение пожарных машин. Тео поднял воротник плаща.

— Может, где-нибудь спрятался?

— Нет, — сказала Эмми.

Она застегивала свою ветровку. На ней были джинсы Тео.

— Но ведь *какая-то* надежда есть?

Тео подошел вплотную ко мне, чтобы не кричать. Его лицо исхудало, а шрам на губе стал заметнее. Он положил руку мне на плечо, словно чтобы поддержать. Он сказал:

— Табак горит при температуре 800 градусов по Цельсию.

Эмми взяла меня за руку.

— Мы понимаем, каково тебе, — сказала она.

— У меня однажды умер попугайчик, — сказал Уолтер, но Эмми осадила его взглядом, и он

умолк.

В растерянности я пытался сфокусировать взгляд на желтой зюйдвестке Уолтера. В ней он смахивал на пожарника.

— Его звали Мак, — сказал Уолтер.

Мне хотелось свалить на кого-нибудь вину. Тогда это обрело бы какой-то смысл. Я пялился на колоколообразную шляпу Уолтера и гадал, может ли человек его возраста помнить, как уронил зажженную трубку в корзину для мусора, набитую бумагой. Сухой бумагой. И старыми деревянными карандашами.

— Уолтер не виноват, — сказала Эмми. — Он пришел в Клуб, чтобы мы побыли наедине.

— Он все сделал правильно, — сказал Тео. — Позвонил по 999, а затем нам.

— Ты не понимаешь, — сказал я. — Моя мать купила его только из-за этикетки.

Сколько бы я ни мигал, это повторялось снова и снова. Бананас спит на пуфике. Загорается табак. Бананас просыпается, усаживается прямо и глубоко вдыхает. Его нос подрагивает, а зеленовато-мраморные глаза превращаются в щелочки. Спина выпрямляется. Хвост неторопливо метет то в одну сторону, то в другую, шурша по старому черному вельвету.

— Какие новости, плохие или хорошие?

Джулиану приходилось кричать. Он единственный был одет по погоде: черное пальто и черные кожаные перчатки.

— Задняя часть дома выгорела, — сказал он потише, когда приблизился, — зато передняя почти совсем не затронута.

— Подумать только, — сказал Тео.

— Они разбираются, как все началось, но главное, что никто не пострадал. Слава богу.

— У Грегори шок, — сказал Тео.

— У нас у *всех* шок, — сказал Джулиан.

Поскольку никто ему не возразил, он пошел обратно к пожарным машинам.

— Я любил этого кота.

— Ему не было больно, — сказал Тео.

— Откуда нам знать?

— 800 градусов по Цельсию.

Дрожа от удовольствия, возвышаясь на пуфике, тело чувственно оживает. В любой момент готов прыгнуть, спастись, но когда разные растения достигают разных стадий сгорания, запах горящего табака делается чуточку интереснее, чуточку насыщеннее. Языки пламени над рабочей скамьей опадают, кресло вспыхивает, но пуфик прохладен и нетронут в полном соответствии со своей эти-

кеткой. Бананас — его зеленые глаза расширены — глубоко вдыхает, улыбается и медленно исчезает за голубовато-зелеными завесами дыма.

— Он умер, да?

— Это всегда нелегко, — сказала Эмми.

— Это я виноват.

— Ты не мог его спасти.

— Не надо было давать ему пепельницы.

— Он умер счастливым, — сказал Тео. — По уши заряженный никотином. Он преодолел неудобство мысли о том, что удовольствие недолговечно. Он наслаждался без конца. Идеальная смерть.

— Не смерть, а сладкий сон, — сказал Уолтер.

— Умер, сгорел, — сказал я. — Ушел навсегда.

Против жара в 800 градусов пуфик был беззащитен. Он забыл обещание, данное моей матери. Он не помог Бананасу. Не смог сохранить воспоминание о спине и ягодицах Люси. Бренность пуфика привела к уничтожению столь основательному, что я оцепенел и был не в состоянии четко соображать.

— Это бессмысленно.

— Смерть естественна, — сказал Уолтер.

— А счастливая смерть возможна, — сказал Тео. — Уверяю тебя.

— Он всегда будет жить, — заверила меня Эмми, — в наших воспоминаниях.

Я уже было надумал им поверить, когда вернулся Джулиан.

— Проводка отсырела, — сказал он. И посмотрел на Тео. — Этого бы не произошло, если бы вы остались в “Бьюкэнен”. Ваши растения были бы в безопасности.

— Не хочу спорить, — сказал Тео. — Не здесь.

— А чего нам спорить? Это не ваши трудности. Это даже не ваш дом.

— Я думал о Грегори.

— Впрочем, могло быть намного хуже.

Затем Джулиан сказал нам, что гостиная даже не пострадала от воды, а я еще не вполне соображал, и потому лишь поблагодарил. Он сказал, что друзья на то и нужны.

— Я любил этого кота.

Джулиан похлопал меня по спине.

— Выше нос, Грегори, — сказал он. — Этого могло и не случиться.

— Ты ужасно выглядишь, — сказала Джинни.

— Зачем ты пришла?

— Мадам Бойярд посоветовала. Что с твоей рубашкой?

Я увидел, что рубашка вся испещрена прожжен-

ными дырочками.

— Ты же не думаешь, что я отпущу тебя просто так? — сказала она.

Прошло больше недели с тех пор, как я был в библиотеке, и в основном я гулял по Парижу. Чтобы придать этому видимость смысла, я каждое утро придумывал сложный маршрут, изобилующий правилами. Мне, скажем, приходилось подолгу бродить, избегая красных вывесок над табачными лавками, или я отправлялся ночью на Монпарнас, никогда не отклоняясь от дороги, соединявшей все кинотеатры Левого берега, где крутили черно-белые фильмы, желательно на французском, и чтобы в названии обязательно была буква У. Куда бы я ни пошел и каким бы правилам ни следовал, я настойчиво проверял теорию любви с первого взгляда, пялясь на множество девчонок в первый раз.

Я стал считать церкви, конные статуи, итальянские ресторанчики, что угодно, чтобы отвлечься от необходимости принимать решения. Я глядел на памятники, пока они все не сливались в один. Я ходил как лунатик, просто занимал место, к которому никто не приближался, плыл между черноволосыми девушками и пожилыми дамами, курившими счастливые сигареты.

Постепенно я стал терять импульс, в котором распознавалась жизнь, но никогда не давал себе пойти вразнос: мои туристические маршруты были источником бдительности, распределением времени. Они были попыткой сдержаться и приносили мне легкое, хоть и временное, удовлетворение.

Я бы мог бесконечно продолжать в таком духе: спать, гулять и жить дальше, не бесчувственно, но нейтрально, бессмысленно, точно крыса, брошенная в лаборатории. Моя мать ошиблась, со мной не произошло ничего ужасного. Опасностей не существовало, или они таились где-то еще, хотя малейшей неприятности хватило бы, чтобы дать мне понять, что я хотел защитить: Люси, или Джинни, или свое воображаемое великолепное будущее. Однако я не болел, и дни мои не были сочтены. Если уж на то пошло, каждый день до сих пор казался использованным, потрепанным с краев, будто страница, которую написали, переплели, издали, изучили, вновь изучили, затрепали и зачитали до такой степени, что из нее больше ничего нельзя почерпнуть. От этого оставалась неудовлетворенность столь смутная, что я почти стыдился.

Я больше не читал книжек по истории, потому

что жизнь — не головоломка, которую можно разгадать чтением. Вместо этого я собирал спички из легкомысленных ресторанов и, за полночь вернувшись в свою комнату, тренировался, зажигая их в сложенных лодочкой ладонях, как Хамфри Богарт в Париже в фильме “Касабланка”. Я прожигал дырочки в рубашках. Держал горящие спички вверх ногами, смотрел, как язычок пламени ползет к пальцам, и думал, что спичка — честная вещь. Она не делала вид, что тверда или зависима в моих руках.

— У тебя вся рубашка спереди в дырках, — сказала Джинни.

Я не брился и не надевал ботинок или носков. Однако Джинни тоже не в оперу направлялась. Она сняла джинсовую курточку и повесила ее на дверную ручку. На Джинни было платье цвета ванильного мороженого, короткое, с земляничниками. Никаких очков.

— Я же говорила, что не сдамся, — сказала она, и я вспомнил, как во время прогулок где-то в глубине моего разума теплилась мысль, что на все это у Джинни есть ответ. Она верила в абсолютизм и очищение любовью, и, возможно, была права.

Я подвинулся на кровати, чтобы дать ей ме-

сто, но когда мягкий матрас прогнулся, сведя нас вместе, мы отклонились в разные стороны, противясь его инициативе. Джинни скинула кроссовки, подтянула под себя ноги, и мы немного покачались на мягком матрасе. Она весело поморгала.

— Контактные линзы, — сказала она.

— Тебе надо носить очки.

— Я больше нравлюсь тебе в очках?

— Джинни.

— Грегори, я вообще тебе нравлюсь? Ты ужасно ко мне относился.

— Я не очень хорошо себя чувствовал.

Она встала на колени и повернулась ко мне, опираясь на стену, пока кровать не перестала раскачиваться. Опустилась на пятки. Затем скрестила руки на груди и двумя пальцами — у нее были прекрасные руки — взялась за тоненькие бретельки платья.

— У меня есть все, что есть у Люси, — сказала она.

Мне нечего было ей ответить. Она медленно стянула бретельки с плеч, скатила платье по груди и оно скомкалось, спустившись к ней на живот. Бретельки она оставила на локтях. Под платьем на ней ничего не было, но я отмахнулся

от этой картины. Все бессмысленно и немного грустно, потому что она не восхитит меня — я ей не позволю. Это нечестно, так нельзя с Люси.

Джинни знала, о чем я думаю. Она глубоко и разочарованно вздохнула, ее легкие наполнились воздухом, приподняв вздернутые груди, которые подрожали секунду, а потом вновь опустились.

Она стянула бретельки платья с рук. Я пристально разглядывал ткань у нее на животе. Я не знал, как сказать Джинни, что это не работает, но тут она потянулась к дверной ручке и полезла в карман джинсовой курточки. Достала оттуда сигарету и зажигалку и вновь обернулась ко мне, все еще стоя на коленях. Вставила сигарету между губами.

— Твое горло, — сказал я, приподнявшись на постели и подтягивая под себя ноги.

Она вытерла лоб, а затем перекатила сигарету в угол рта. Ее губы расслабились, и сигарета повисла под залихватским углом, знакомым мне по старым фильмам. Я восхищенно опустился перед Джинни на колени.

— Твои голосовые связки, — сказал я.

Сигарета дрогнула, когда она вдохнула.

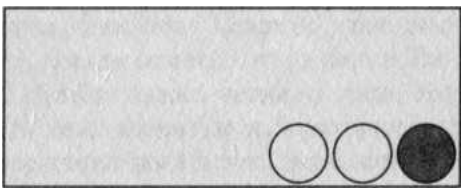
— Мои легкие, — сказала она, и сигарета задергалась. — Люси так это делает?

Я кивнул.

Она взяла зажигалку обеими руками, чиркнула. Поднесла ко рту, ее груди легли на белые руки.

— Смотри, — сказала она. — Смотри, как это делаю я.

День 18



С каждой неделей Тео курил все меньше, и мы знали, что он умирает. Упрямец Уолтер даже потрудился разыскать “Кельтик”, любимые сигареты Тео, а затем отметил, что в кашле Тео виновна зима. Приближалась весна, и тогда Уолтер стал винить дом: ядовитую лабораторную пыль или микроскопический пепел, оставшийся после пожара.

Эмми попросила его прекратить.

— Тео умирает от рака легких, который вызван курением, — сказала она.

От любви Эмми изменилась, будто смирилась наконец, что влюбляться в курильщиков — ее судьба. Возможно, это эдипов комплекс, считала она. Однажды она даже неохотно призналась,

что уважает безрассудство, необходимое для курения. Это все равно что взывать к Господу со специальной просьбой, и хотя взывать к Господу можно и другими способами наподобие скалолазания и мотогонок, ни то, ни другое никогда не интересовало мужчин, которых она любила.

Тео доходчиво объяснил, что не желает проводить последние недели в больнице. Ему не нравилось, как врачи кололи и высасывали его, будто анализы все объяснят. Особенно его раздражали настырные молодые стажеры, которые очень вежливо спрашивали, не против ли он, если его легкие сохранят, чтобы потом показывать школьникам. Разумеется, после его смерти.

Он предпочитал находиться дома среди безумцев.

Теперь мы жили только в передней части дома, и из своего кресла в Клубе самоубийц Тео иногда посылал Джейми к букмекерам. Он все еще ставил на фаворитов, но теперь постоянно проигрывал. Это его радовало, это подтверждало, что он кое-что понял о законах, управляющих его жизнью, и каждое проигранное пари временно восстанавливало его силы. Когда аутсайдеры со ставками двадцать к одному приходили к финишу раньше чемпионов, Тео и Эмми бодро решали

вопросы о деньгах, кремации и о том, что будет с Гемоглобином, когда Тео умрет. Тео отдал мне ключ от квартиры в трущобах.

— Что мне с ним делать?

— Не знаю, — сказал он. — Сам решай.

Кашель Тео становился хуже, и Джейми мчался к букмекерам быстрее в страхе, что Тео умрет до его возвращения. Но когда у Тео были силы, его, казалось, больше заботило мое здоровье, чем свое собственное.

— Ты же знаешь, что сможешь бросить, если захочешь.

— Знаю.

— Хоть завтра — если захочешь.

Джейми только что примчался из букмекерской конторы с потрясающими новостями: Уэльс, худшая команда в Турнире пяти стран, побила французских фаворитов в Кардиффе. Тео получшало.

— У меня иначе, — сказал он. — Курение не было побегом. Скорее состязанием.

— Тео, ты умираешь.

— Значит, я проиграл. Но я все еще бросаю Ему вызов.

— Дело ведь в Джулиане, да?

— Ты больше, чем статистика, Грегори. Ты

лучше этого.

Пока не пропал эффект, вызванный победой Уэльса, я сказал Тео: Джулиан до сих пор винит его в том, что он оставил у себя растения, которые выращивал в лаборатории.

— Он считает, они спасли бы тысячи жизней.

— Ну конечно, он же у нас такой спец по вопросам жизни и смерти.

Но тут у него опять заболела грудь, и он не стал развивать мысль.

Я старался особо не думать о жизни после смерти Тео. Вместо этого я находил успокоение в еженедельной рутине и радовался, что некоторые вещи никогда не меняются. Каждую неделю я дважды бегал в медицинский кабинет в Центре, где незнакомцы подключали меня к приборам, дабы посмотреть, что именно сделали со мной сигареты. Брали мазки из глаз на предмет амблиопии и исследовали пот на содержание щелочи. Устанавливали содержание кислорода в крови и спрашивали, не чувствую ли я беспокойства. Но сколько бы я ни говорил, что нервничаю, мне всегда выдавали положительный отчет о здоровье. Говорили, что со мной все в порядке, а затем вручали запас сигарет, которого хватало до следующей встречи из расчета двадцать штук в

день. Вся процедура была мне знакома, она утешала, а я нуждался в таком успокоении и потому продолжал выкуривать ровно по 20 оговоренных сигарет в день.

Естественно, Джулиан всегда знал, где меня найти. Порой он заглядывал в медицинский кабинет, изучал таблицы на стенах и большим пальцем проверял остроту скальпелей.

— После Гамбурга прошло почти десять лет, — сказал он.

Я смотрел, как темная кровь поступает из моей руки в толстый шприц.

— Пора бы подумать о новом контракте.

— Если я соглашусь.

— Ну разумеется, — сказал Джулиан. — Я прощаю тебе тот день, когда ты выкурил больше двадцати штук. У тебя был сильный стресс из-за Тео и всего остального.

Джулиан посмотрел на экран и нажал несколько клавиш.

— За десять лет практически ни дня не болел, — сказал он. — Грегори, ты здорово нам помог. Мы хотели бы продолжить работу.

Мне понравилось, что Джулиан действует осторожнее. Значит, моя яростная речь о том, как я брошу, произвела на него впечатление,

хотя, по правде сказать, я привык курить и не представлял, каково не курить. Тео умирал, а мои “Кармен” — слишком ценное утешение, чтобы от них отказаться. К тому же со здоровьем у меня все в порядке и от курения зависят мои доходы. Неотложной причины бросать нет.

— Так я подготовлю бумаги? — сказал Джулиан.

— Да, — сказал я. — Хорошо.

Я ничего не сказал Тео. Он уже почти не курил, и я не хотел его расстраивать, но тут, размахивая лотерейным квиточком, ворвался Джейми и выпалил новость, что сорокапятилетний адвентист седьмого дня, супертяжеловес, только что стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Вдохновленный Тео выпрямился в кресле и припомнил байку из “Бьюкэнен” про гамбургские лаборатории, которую всю дорогу собирался рассказать. Дело было несколько лет назад, беженец с Украины, бывший олимпийский гимнаст, заболел раком во время каких-то опытов Джулиана. Карр всегда заявлял, что рак предшествовал опытам, но после вопросов немецкой прессы наконец признался, что украинец, в числе прочих, получал деньги за курение. Компания “Бьюкэнен” тут же выпустила заявление, где снимала

с себя всякую ответственность. Она была полностью согласна, что вводить людям вещества, потенциально чреватые раком, лишь для того чтобы выявить причинно-следственную связь, морально и этически неприемлемо.

Тогда Джулиана публично уволили.

— Что до гимнаста, — сказал Тео, но тут эффект пари начал спадать, и он не закончил фразы.

Моменты просветления становились все реже, какие бы новости о потрясающих поражениях Джейми ни приносил из букмекерских контор. 2 марта Тео не делал ставок и не курил. Мы отвезли его в больницу, где вечером следующего дня, в двадцать минут девятого, он скончался. Он поспорил с Уолтером, что протянет еще хотя бы неделю.

Она закурила и, не затягиваясь, выпустила немного дыма.

— Люси делает не так, — сказал я. — Она все втягивает внутрь.

Она вынула сигарету изо рта и удостоверилась, что та еще горит. Я тяжело дышал, пытаясь вдохнуть дым, что тянулся ко мне.

— Она все втягивает как можно глубже в легкие, — сказал я.

Джинни снова вставила сигарету между гу-

бами. Дым попал ей в глаза, и она отчаянно заморгала. Надо было ей надеть очки. Я сфокусировался на кончике сигареты, и лицо Джинни расплылось, превратилось в бледный фон за угольком на кончике горящей сигареты, который затягивался пеплом.

Когда Джинни затянулась, сигарета чуть приподнялась, приоткрыв нижнюю губу. Папиросная бумага потрескивала, горела, и красный уголек на сантиметр приблизился к фильтру, пока опять не покрылся пеплом, скорее белым, чем серым. Джинни вынула сигарету изо рта и сомкнула губы вокруг дыма. Я представил, как он оседает на языке за ее зубами.

Мне захотелось ее поцеловать.

Вот так сомкнув губы вокруг дыма, она казалась решительной и немного напуганной. Губы открылись, снова закрылись, и сиротливый клуб дыма проплыл мимо ее щеки. Она вдохнула, коротко и резко, словно ее ужалила пчела или уколола булавка. Подавила кашель в глубине горла. Затем изумленно покосилась на дым, который выпускала через нос.

Я положил правую руку на ее левую грудь. Она взглянула на руку, потом мне в глаза, потом снова затянулась. Из ее левого глаза скатилась

слезинка.

— Контактные линзы, — сказал я.

— Дым, — сказала она.

Слезинка нависла над краешком века и соскользнула к скуле. Упала мне на руку и просочилась между пальцами.

Джинни выкурила сигарету до самого фильтра, и ничто в комнате не двигалось, только зажженная сигарета перемещалась от руки ко рту и плыл ввысь дым. Когда сигарета закончилась, Джинни наклонилась и затушила ее о металлическую крышку пенала фирмы “Хеликс”. Выпустила последнее облачко уголком рта, пока все не выветрилось. Затем глубоко вдохнула свежий воздух, и ее грудь приподнялась в моей руке. Я наклонился к ней, и мы поцеловались, и это было точно так же, как в добрые старые деньки, как с Люси Хинтон. Все было в порядке, все шло как надо. Я открыл глаза и увидел скулу целующей меня Джинни Митчелл. Я снова закрыл глаза.

Немного спустя мы, задохнувшись, разъединились.

Джинни улыбнулась. Прикусила нижнюю губу.

Мы начали снова. Ее пальцы блуждали по моему лицу, спине, проникали в уши. Затем они

оказались под моей рубашкой, но все это меня не слишком интересовало.

Я хотел похитить вкус сигареты с ее языка. Хотел изгнать последние остатки никотина с ее десен и с гладкой эмали идеальных американских зубов.

Не знаю, сколько времени прошло, когда я заметил, что вкус сигареты улетучивается. Я отстранился, и меня удивило, как цепко Джинни ухватила мою руку, блуждавшую под ее платьем. Она укусила меня в шею. Я отклонился от нее. Кровать снова свела нас вместе.

— В чем дело? — сказала она. Поцеловала меня в уголок рта.

Я высвободил руку и положил ей на плечо, чтоб она остановилась.

Она склонила голову, нацеливая следующее объятие.

— Ни в чем, — сказал я.

Она уперлась головой мне в плечо.

— У меня немного кружится голова, — сказала она. — Обычно я не такая.

— Это все никотин.

— Мне нравится.

Она примерилась поцеловать меня в подбородок, но тут же прекратила.

— Что-то не так?

— Нет, — сказал я. — Конечно, нет.

— Что?

— Все дело в сигарете.

— Мне кажется, у меня неплохо получилось, — сказала она. — Для новичка.

— Ты была восхитительна, — сказал я. — У тебя есть еще?

Она запустила руку мне под рубашку и провела пальцем по ребру.

— Нет, — сказала она, — нету.

Я посмотрел на пенал фирмы “Хеликс”, но это совсем другое дело.

— Давай обойдемся без этого, — сказала она, обводя пальцем мой пупок.

Я поймал и удержал ее руку.

— Не могу, — сказал я.

— Почему?

— Просто не могу. Это меня заводит.

— Больше, чем это? — Она прикусила мочку моего уха.

— Больше, чем это, — сказал я.

— Я могу сходить и раздобыть еще. — В ее голосе звучало сомнение. — Если ты действительно этого хочешь.

Я поцеловал ее в губы: вкус сигареты явно

пропал.

— Всего одну, — сказал я. — Я был бы очень благодарен.

Она соскочила с постели и закатала платье обратно на живот и грудь. Продела руки в бретельки и сказала:

— Ты странный, но я тебя люблю.

Она натянула бретельки на плечи и потянулась за курточкой. Поцеловала меня в нос и сказала, что она мигом, а потом закрыла за собой дверь — совсем легонько, это никак не означало прощания.

Я не представлял, что творю. Джинни — певица, ее легкие чисты как стеклышко. Я протянул руку к пеналу фирмы "Хеликс" и взял его, рассыпав пепел ее сигареты. Он осел на кровать, на меня и на пол. Пепел целой пачки наверняка покрыл бы все, что я имел.

Я попытался разобраться. Я попросил Джинни курить. С испорченными легкими на ее певческой карьере будет поставлен крест. Вся ее жизнь изменится. Возможно, когда-нибудь я начну подговаривать ее переспать с человеком без определенных способностей и видов на будущее, живущим в комнатенке размером с усохшее легкое. Зря я вел себя так, словно эта сигарета

была волшебной. Она ею не была. Некогда она принадлежала мадам Бойярд, которая купила ее в магазине, и напрасно я позволил Джинни думать, что волшебные сигареты выдаются в магазинах в обмен на деньги.

Факт: с сигаретой или без нее — никакой разницы. Очередной затрепанный день, который уже был прожит, и я вдруг осознал огорчительную правду, печальную и нелепую, как шутовской колпак, который я не хотел носить. У меня не было желания что-либо менять или защищать. Я хотел забыть надежду, смелость, успех, настойчивость. Я отпускал себя, и это получилось легко.

Я встал и запер дверь. Снова сел. Открыл пенал фирмы “Хеликс”. Достал сигарету Джулиана: надпись “Бьюкэнен” над фильтром — когда-то мне казалось, что это очень умно, — почти выцвела.

Я мог раздавить эту сморщенную сигарету пальцами, как Супермен давил сигареты, которые предлагал детям злодей Ник О’Тин.

Это была новая мысль, никогда раньше она не приходила мне в голову. Сигарета — такая хрупкая вещь, ее так легко сломать, я хотел, чтобы исчезло все, что она символизировала. Я хотел начать свою взрослую жизнь заново, избегнув бессмысленной одержимости и этой привычки

постоянно разочаровывать женщин.

Но я не был Суперменом. Я вставил сигарету Джулиана между губами. Вкус у нее был как у незажженных сигарет в табачной лавочке. Фильтр оказался тверже, чем я ожидал, но в остальном был так знаком, точно я знал его в другой жизни. И тут, когда это не имело ровно никакого значения, я совершенно отчетливо понял, что должен был закурить, когда Люси меня об этом попросила. Я схватил коробок спичек с пола и свернулся на постели калачиком с незажженной и сморщенной сигаретой Джулиана во рту.

В дверь заколотила Джинни.

— Целая пачка, двадцать штук! — возбужденно сказала она, но я не шевельнулся на постели.

Я сказал ей, что мне очень жаль. Она позвала меня по имени. Я сказал ей, что мне очень жаль. Она хотела знать, что происходит, и я сказал, что мне очень жаль. Поскольку я лежал лицом к стене с сигаретой во рту, она могла меня не расслышать. Она все звала меня. Я закрыл уши руками. Позже или, возможно, раньше она сползла на пол, упершись спиной в дверь.

— Я не сдамся, — говорила она снова и снова, но в конце концов сдалась.

— Я хочу домой.

— Выкури еще трубочку, — говорю я. — Я вытряхну тебе пепельницу.

— Ладно, — говорит Уолтер. — Но только последнюю, а потом пойду.

Он берет свежий табак из своего кисета и уминает его в чашечку. Я смотрю на его ловкие руки, потому что лицо его скрыто широкими полями огромного сомбреро. Гемоглобин ворочается в корзине, всхрапывает, успокаивается. Привидение подражает ветру и скребется по углам.

Я спрашиваю Уолтера, верит ли он в привидений.

— То есть серьезно?

— Серьезно.

— Конечно, нет. А ты?

— Нет, — сказал я. — Пожалуй, нет.

Уолтер подносит спичку к трубке, и из-под полей сомбреро выплывает клуб дыма. Я спрашиваю, где он раздобыл эту шляпу.

— Долгая история, — говорит он, но на сей раз не выказывает никакого желания ее поведать. — С участием Фиделя Кастро, ЦРУ и взрывающейся сигары.

Вообще-то Уолтер мрачен. Не стоило мне забывать, что он азартен — при игре в домино это видно.

— На Кубе, — говорит Уолтер, выглядывая из-под сомбреро, и я вижу, что он до сих пор не сдался. — Девчонки, которым не сидится без пары, — тут он явно нарочно сталкивает пепельницу с подлокотника, чтобы досадить мне, — вечно курят сигары.

Все его уловки не работают. Я уберу пепельницу потом, спокойно и без суеты. Это не проблема, и, если уж начистоту — я вовсе не глажу себя по головке, — у Уолтера не было и одного шанса из миллиона побить меня в “Искушении Грегори”, игре, которую я придумал несколько часов назад, чтобы убить время. Уолтер хотел посидеть еще немного, в основном потому, что Эмми до сих пор занимается на курсах: в изучение опасностей ядерного топлива выплескивает избыток энергии, некогда вложенный в ЛЕГКОЕ. “Все борешься?” — спросил я, а она сказала: “Да, все борюсь”. Перед возвращением она собирается впервые прыгнуть с парашютом.

К тому же “Искушение Грегори” — очень простая игра. Чтобы выиграть, Уолтер должен заставить меня признать, что я хочу курить. Единственное правило — он не должен отрывать меня от писания, но за исключением этого все средства хороши. Он уже успел вспомнить все случаи,

когда курение спасло ему жизнь. Он часто поминает свой почтенный возраст. Он напомнил мне о бессмысленных войнах, случайных автобусах, утечках радиации, сверхмощных мотоциклах, необнаруженном асбесте, смертельных песчинках, пассивном курении и — увлекшись — о том, что человека может сожрать рыба рогозуб. Он вкладывал зажженную трубку мне в руку и пускал дым в лицо. Описывал девушек-таитянок, что скручивают сигары меж медово-коричневых бедер. Припоминал джазовые подвальчики, ковбойские лагеря и бар из “Касабланки”. Меняя тактику, пытался склонить меня к горячечному желанию закурить, но лишь раз был близок к успеху, когда прочел вчерашнюю страницу, презрительно фыркнул и пригрозил поджечь ее зажигалкой. Близко, Уолтер, но никакой сигары.

В качестве последней уловки он попытался нагнать на меня скуку. Мне нельзя читать, смотреть телевизор или вставать с кресла, пока он сидит передо мной и достает влажный табак из своего кисета. И вот наконец он, думаю, признает поражение, хоть и скрепя сердце.

— Знаешь, — говорит Уолтер, тыча в меня чубуком трубки, тебе повезло, что ты живешь в этом доме.

— Спасибо, Уолтер, — говорю я, хотя это не имеет ничего общего с везением. Этот дом — наглядное свидетельство того, что я десять лет пахал на “Бьюкэнен” в надежде, что в моем теле не таится никакого другого свидетельства, никакой внутренней татуировки, никакого терпеливого послания.

— Я тут еще кое-что надумал, — говорит Уолтер.

— Последний шанс.

— Если ты действительно бросил, — говорит он и делает паузу перед тем, как нанести удар, — то почему не сказал матери?

Уолтер всегда был хорошим игроком. Я делаю вид, что мне надо записать нечто очень важное.

— Я бы сказал, если б захотел.

— Но не сказал, так ведь?

— Может, я не хочу.

Может, я не знаю, как это сделать. Моя мать считает сигареты опасными и важными. Она никогда не курила и вряд ли поймет, что причины начать и бросить одинаково глупы и совершенно разумны. Мир остается миром, а я — собой, в той же самой взаимосвязи со всем вокруг, только в моих зубах торчит или не торчит трубочка с горящими листьями, это уж как получится.

— Это доказывает, что ты не справишься, — говорит Уолтер.

— Я могу сказать ей когда угодно.

Уолтер повторяет знакомый ритуал набивания трубки.

— Я думал, ты домой хочешь.

— И еще, — говорит Уолтер, наслаждаясь собой, — что будет, когда ты перестанешь писать? Может, ты снова начнешь курить?

— Будет что угодно. Я могу вступить в клуб Эмми “В путь” и заняться дельтапланом или скалолазанием. Могу влюбиться с первого взгляда.

— В Стеллу?

— Не знаю в кого. С первого взгляда.

— Это хорошо, — говорит Уолтер, — потому что больше одного раза Стелла на тебя не посмотрит.

— А вдруг?

— Нет. В основном потому, что ты ни на что не можешь решиться. Ты еще даже не решил, пойдешь ли на представление. Может, ты, как только перестанешь писать, побежишь в Центр и станешь умолять Джулиана взять тебя обратно. Ты знаешь, что Джулиан предлагал деньги Джейми?

Нет, этого я не знал, и мысль, что Джулиан до сих пор здесь, расхаживает в костюме, курит и предлагает деньги незнакомцам, повергла меня в

шок. Последние недели я лишь представлял, как он сидит в своей темной комнате и дымит. Тушит наполовину выкуренные сигареты о застекленные рамки свадебных снимков.

— Готов поклясться, что Джейми отказался.

— Как ни странно, да.

В последний раз, когда я видел Джейми, на похоронах Тео, я по возможности доходчиво объяснил ему, что Тео умер оттого, что слишком много курил. Я видел, как Джейми пытается это понять, хотя он всегда знал, что сигареты и рак связаны. Как выключатели и электрический свет или краны и вода, но до смерти Тео Джейми никогда не задумывался об этом как следует.

— Но зачем тогда продавать то, что убивает людей? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я.

— Но *зачем* убивать людей?

— Они так созданы.

Я понимал смятение Джейми. Я вспомнил мерзкий вкус сигареты мисс Брайант и как я утратил веру во все.

Я беру трубку и набираю номер.

— Не надо, Грегори, — говорит Уолтер. — Я тебе верю. Ты выиграл.

Я делаю ему знак помолчать. Мама подходит к

телефону, я здороваюсь, и она привычно, хотя и сонно, спрашивает, все ли у меня в порядке.

— Я знаю, сейчас поздно, — говорю я, — но мне надо тебе кое-что сказать.

И тут, хотя я знаю, что Уолтер смотрит на меня и что это очень обрадует маму, я понимаю, что не могу этого сделать. Это так же трудно, как сказать ей, что я ее люблю.

— Говори, — отвечает она, — раз уж начал. Ты нашел девушку?

— Возможно, я приеду, — говорю я.

— Что?

— Возможно, приеду. На выходные.

Мы оба рады, поэтому прощаемся, пока я все не испортил. Я возьму и приеду, и не буду курить, пока кто-нибудь не заметит. Скорее всего, после обеда, когда я не побегу в сад, едва отец предложит мне посмотреть снимки с церемонии награждения ОБИ.

— Ничего, — говорит Уолтер. — Я все равно думаю, что ты сдюжил.

— Думаешь?

— Да. Я верю, что ты бросишь.

— Навсегда?

— Ты доказал, что можешь. Ты это сделал, и я, честно говоря, впечатлен.

— Спасибо, Уолтер.

— Думаю, это было нелегко.

— Большое спасибо.

— Но ты теперь официально не куришь, и я снимаю перед тобой шляпу.

— Ты что, правда?

— Правда. Снимаю шляпу.

И он, как ни удивительно, именно это и делает.

День 19



Второй класс, места для курящих. Это началось на вокзале Сен-Лазар и продолжалось до самого Гамбурга. Поезд обрел свой голос, и только и делал, что бормотал “сигареты чух-чух, сигареты чух-чух”.

Наискосок от меня сидела девушка в черном платье и в темных черепаховых очках. Она положила мягкую желтую пачку “Эрнте 33” на столик рядом с книжкой на фламандском — каким-нибудь романом, наверное. Во время чтения она иногда постукивала по зубам тонкой металлической зажигалкой, но я старался не обращать на нее внимания, потому что важно было только, чтобы прошло некоторое время и ничто не дошло до меня. Я посмотрел в окно, затем на па-

раллельные рельсы, жидкой ртутью сверкающие на солнце.

Она закурила. Табак. Дым. Мне показалось, что я где-то видел ее раньше. Затягивается, выдыхает, в моем окне отражаются ее прозрачные губы и кончики пальцев. Она курила, так что, если бы мы поцеловались, не заметила бы, что на вкус я — как пепельница.

Сигареты чух-чух, сигареты чух-чух, а за окном мелькают телеграфные столбы.

Утром я упаковал свои пожитки в единственный чемодан и без всяких маршрутов отправился покупать билет на поезд до Гамбурга. По дороге на вокзал в ярком утреннем свете, заливавшем город, Люси Хинтон была повсюду, прикуривала курила тушила свои сигареты, сидела стояла преклоняла колени у реки, засоряла тротуары раздавленными окурками, убивала прохожих. Откуда мне было знать, что именно эта девушка станет лекалом для всех девушек, которых я когда-либо встречу? Надо было быть повнимательнее. Надо было выкурить ту сигарету.

Отражается в окне на фоне летящей зелени, поправляет темные очки, постукивает по зубам, курит, переворачивает страницу, время от времени покашливает.

Конечно, поскольку на какой-никакой выбор я еще способен, я могу сойти с поезда на любой станции до Гамбурга. Могу прийти в себя в отдаленном санатории (“пожалуйста, не курите”), а потом вернуться освеженным и с нетронутыми легкими в Париж, а оттуда, возможно, в Англию. Могу найти Люси Хинтон и оценить шансы жить с ней долго и счастливо.

Кончиком языка трогает верхнюю губу. Я могу стрельнуть у нее сигарету.

Я понял, что, видимо, простил Джулиана. Я представил, как он расхаживает по лаборатории взад-вперед между горящими бунзеновскими горелками и пенящимися пробирками вне себя от гипотетической невозможности найти своего мистера Икс. Уверен, он меня узнает. Я доверял его письмам и трудностям, которые он на себя взвалил, и хотел верить, что это делает его моим другом. Он писал так часто, что я не верил в пари между ним и Люси. На самом деле Люси действительно любила меня, это правда. Она бросила меня, потому что я не сдержал обещания выкурить сигарету. Это исключительно моя вина, и я должен умереть.

Ерзает на сиденье, устраивает свои косточки. Какой я кретин, что такое подумал. Ее косточки

не шли ни в какое сравнение с косточками Люси. И с косточками Джинни. Позвоночник Джинни изгибался перед моей дверью, Джинни рыдала. Я кретин и должен умереть. Именно поэтому накануне ночью я выкурил затхлую “Бьюкэнен Сенчури”, некогда принадлежавшую моему доброму другу Джулиану Карру.

Джинни сдалась, в последний раз стукнула кулачками в дверь и ушла домой. Я лежал на кровати с незажженной сигаретой во рту и упаковкой спичек в руке. Пялился на стену. Глубоко задумался о сердечной боли Джинни, не имевшей ничего общего с сигаретами. Исследовал собственную жестокость. Наконец без особых сложностей решил, что и впрямь должен умереть.

Поэтому я зажег спичку, но не в сложенных лодочкой ладонях и не как Хамфри Богарт. Посмотрел, как язычок пламени ползет к пальцам. Я мог найти оправдание. Мог свалить все на дядю Грегори и его мощное обаяние, впечатлившее мой юный ум притягательностью жизни, полной приключений, трудностей и табака. Или на основании единственного кое-как подслушанного разговора считать, что дядя Грегори тайно был моим настоящим отцом, это кровосмешение

напортачило в моих генах и оттого я не способен к доброте. Или можно все свалить на родителей, на их отказ купить мне шикарный скейт, или приличный магнитофон, или самокат с моторчиком, — на родителей, не давших мне никакого повода бунтовать, кроме их добропорядочности.

Пальцы обожгло. Я бросил спичку на пол и подождал. Ничего не загорелось.

Я зажег вторую спичку и посмотрел, как она горит. Я сам виноват — я думал, что прибыл в Париж свободным человеком. Я считал, что я центр вселенной, что моя судьба — спасать прекрасных женщин и жить вечно. Будь у меня удача, время и подмога в виде денег дяди Грегори, я бы доковылял до всего, чего хотел, просто ковыляя вперед. Разочарование было неизбежно.

Я бросил вторую спичку. Пожара не случилось.

Моя мать всегда была права. Всегда чего-то не хватает, я должен научиться принимать разочарование, как и все. Я ничем от них не отличаюсь, и не стоило мне смеяться над ее восклицательными знаками. Она ставила их, потому что говорила важные вещи и учила нерадивого ученика. Она всего лишь хотела, чтобы я обратил внимание, но я этого не сделал. Я должен умереть.

Я зажег третью спичку и поднес ее к кончику

сигареты. Подумал о дяде Грегори в Аделаиде, обезьянах в исследовательских лабораториях и ковбоях в пустыне с кислородом в переметных сумах. Подумал о 20 % всех смертей в Англии, болезни Бюргера, бензопирене, коронарном склерозе, неэффективности фильтров и обо всех угрожающих заголовках, что присылала мать. Я выискивал любое надежное доказательство того, что сигарета Джулиана убьет меня наверняка.

Я закурил и глубоко затянулся: вкус был мерзостный, и я не сомневался, что он смертелен. Я опять затянулся, хотя каждый раз подносить сигарету к губам было все равно что держать в руках блевотину. Я докурил, но остался жив. Я бросил окурок на пол. Ничего не загорелось.

Ничего не произошло. Я выкурил сигарету Джулиана, и она не оказалась смертельной. Лишь большое разочарование, как и все остальное, как меня предостерегала мать. Сигарета Джулиана не содержала никакого специального послания, никакой особенной морали, а моя жизнь была не более хрупкой, чем любая другая. Я не был центром вселенной, все предсказуемо, обычно, неинтересно.

Девушка в поезде, никак не пострадавшая от уже выкуренных сигарет, закурила еще одну.

Поправила очки на носу.

Конечно, сигарета меня не убила. С чего бы моей смерти оказаться необычнее моей жизни? Я должен вырасти, причем быстро, отчасти из-за этого я не почистил зубы. Хотел сохранить вкус табака во рту. Он напоминал, что мне не суждено жить вечно.

Отныне я намеревался заменить все свои героические и бесполезные желания простым и легко удовлетворяемым желанием покурить. Все неповторимое и возвышенное покинуло меня, и вместо этого я дам себе смехотворное задание, которое будет все определять наперед. Я приму неизбежность однообразных дней, посвятив себя сигаретам и прочим требованиям Джулиана. Это не то будущее, которое я себе намечал, но я предпочитал его жизни, в которой я стану заново переживать чужие разочарования.

Я все как следует обдумал. Каждая сигарета неминуемо будет напоминать мне о Люси и Джинни, но это даже хорошо. Это будет мое бесконечное наказание, оно заставит меня вспоминать и страдать, как я того и заслуживаю. Поскольку я буду курить, мне придется найти новый способ показать матери, что я ее люблю, хотя явно не любовь толкала меня умереть раньше нее. По

крайней мере, я на это надеялся. Ни для кого не секрет, что сигареты нанесут большой вред моему здоровью.

Девушка в черном платье полированными ногтями барабанила по лакированной столешнице, привлекая мое внимание к единственной “Эрнте 33”, которую она немного подкатила ко мне. Ее брови изгибались над черепаховой оправой темных очков. Я могу взять сигарету. Могу завязать разговор. Могу узнать, откуда она приехала, чем занимается и что у нас общего помимо курения. Я отвернулся. Ее отражение повело плечами и продолжило чтение.

Я намеревался подавить свои привязанности и от всего отдалиться. Я буду безразличен к погоде и времени дня, буду невосприимчив к любым ощущениям, кроме ежечасных колебаний тяги и удовлетворения, что приносят сигареты. Конечно, внешний мир и дальше станет передавать мне информацию, но у меня исчезнет желание ее получать. Вместо этого я представлял, как выживаю без радости и печали, без прошлого и будущего, просто, самоочевидно, точно набухающая на кране капелька воды, точно крыса. Я не буду ничего просить, ничего принимать, не буду никого обманывать. И все это в обмен на

выкуривание определенного количества сигарет каждый божий день.

Постепенно моя жизнь лишится всякой деятельности за исключением этой обязательной рутины. Она будет свободна от трудностей и беспорядка, жизнь без шероховатостей и шаткости. Я не буду ничего замышлять, не раздражаться. Стану существовать без желаний, негодования и отвращения. Час за часом, сигарета за сигаретой, день за днем будет начинаться нечто, не имеющее конца: моя перечеркнутая жизнь.

Путь от Парижа до Гамбурга прерывался лишь остановками, где я так и не выходил, а на заднем плане — сигаретами и тому подобным.

Клуб самоубийц ломился от посетителей. Здесь присутствовали все постоянные члены, а также Эмми, Джейми и масса ученых и техников из Центра. Я обнес их подносом с бутербродами, старательно избегая Джулиана Карра, представлявшего “Бьюкэнен” и выражавшего соболезнования от лица компании. Еще он посматривал на Джейми, который пытался убедить секретаршу Центра миссис Кавендиш, что снимок легких Тео, если встать поближе и скосить глаза, на самом деле является скрытым трехмерным изображением краснокожего индейского вождя. За ними

Уолтер спорил с Эмми. Он отказывался передавать бутерброды.

— Я на глазах *дряхлею,* — возмущался он.

Ланди Фут уламывал людей с чайными чашками попробовать капельку хереса, а Джулиан Карр теперь смотрел на меня поверх головы Джейми.

Откуда ни возьмись появился совершенно здоровый Тео. Он улыбался во всю ширь закрытого рта, отвоевывал себе местечко и выплясывал замысловатую джигу, состоявшую из аккуратных скачков и частых прыжков.

— Тео, — сказал я, — прекрати немедленно.

— Почему?

— Ради бога, это же твои собственные похороны.

— Вот именно, — сказал он, перемещаясь влево, прыгая вправо. — Это лучший способ пообщаться с людьми внизу.

И часа не прошло, как мы вернулись с дневной службы в крематории, а я уже выкурил 27 сигарет. Я целый день не ел, и у меня сильно кружилась голова.

Теперь Тео стоял рядом со мной. Хотя он был всего лишь галлюцинацией, вызванной избытком никотина, я не хотел грубить.

— Ну, — сказал я, — как там на небесах?

— Не жалуюсь.

— Боженька курит?

— Я что-то не заметил. Осторожно, — сказал он. — К нам приближается бяка.

— Грегори.

— Джулиан.

— Мои глубочайшие соболезнования от лица “Бьюкэнен”.

— Бутерброд?

— Я не мог не заметить, — сказал Джулиан.

— Знаю, — сказал я, — много сыра и мало ветчины.

— Что ты, кажется, слишком много куришь.

— Такой день, — сказал я. — Это помогает мне держаться.

— Конечно, я понимаю, — сказал он. — Но, может, тебе стоит немного сбавить обороты, самую малость?

— Спасибо, Джулиан. Ты хороший человек.

— Возможно, сейчас для этого не лучшее время, — сказал он и оглянулся. — Но твой новый контракт уже готов.

— Потом, — сказал я и пошел предлагать бутерброды медику-исследователю, которого знал по Центру.

Я закурил еще одну сигарету. Голова закружи-

лась, и я уселся в кресло у стены.

— Он только об одном и думает, — сказал Тео. Он устраивался поудобнее на подлокотнике рядом с любимой пепельницей Уолтера. — Ему не понравится, если ты бросишь.

Я чуть не поперхнулся дымом:

— Я не собираюсь бросать.

— Как скажешь.

— Я за сегодня уже выкурил столько, сколько никогда за день не курил. Это не значит, что я собираюсь бросить.

— Закури еще одну, — сказал Тео. — А то я что-то рассеиваюсь.

Я закурил еще одну. Теперь у него появился загар. Тео был в белом халате, а на плече его сидел Бананас и смотрел на мою сигарету зелеными глазищами.

— По-моему, со мной все в порядке, — сказал я.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что прохожу полный медицинский осмотр дважды в неделю.

— А, тогда все ясно, — сказал Тео.

— О чем ты?

— Думаешь, — сказал он, — если бы у тебя что-то было, тебе бы об этом сказали?

— Грегори!

Это была Эмми — она протягивала мне чашку чая. Она хотела знать, все ли со мной в порядке. “Все хорошо”, — сказал я, хотя мог умирать от рака легких и сердечных заболеваний, а мне бы, *разумеется,* ничего не сказали. Я почувствовал тупую боль в груди рядом с сердцем. Не раскисай, парень.

— Эмми, — сказал я, слегка запаниковав, — у тебя бывает ощущение, что Тео до сих пор среди нас?

— Конечно, — сказала она, — постоянно.

Она хотела сообщить мне, что Джулиан Карр затеял спор с доктором Хеккетом по поводу римлян, и я пообещал ей их утихомирить. Я взял стакан хереса у Ланди Фута и отыскал Джулиана, угрожающе нависшего над доктором Хеккетом.

— Его второе имя — Бомбаст, — сказал я, поправляя их и увлекая Джулиана за собой.

Он сказал:

— Что это за игры у тебя? Пока ты сидел в углу, ты выкурил минимум три сигареты. Я видел.

— Это скорбь, — сказал я, — и нервы. Прости, Джулиан. Это больше не повторится.

Я оставил его на попечение Эмми, поскольку хотел кое-что уладить с Тео, и, надеюсь, в никотиновой дымке вечера достаточно убедительно

изображал нормального человека. Я раздавал бутерброды, клал сахар в чай, подносил зажигалку к незажженным сигаретам. Если я не всегда понимал ход разговора, то лишь потому, что концентрировался на Тео, а чтобы он сохранял четкость, мне приходилось постоянно держать зажженную сигарету либо в пальцах, либо во рту.

— Я не бросаю, — сказал я ему. — Тогда Джулиан меня и на пушечный выстрел не подпустит к однодневным международным соревнованиям.

— Ты на них все равно никогда не ходишь.

— Никакой оперы. Никаких мотоциклов. Я потеряю источник дохода.

— Это всего лишь деньги.

— Практические последствия немыслимы.

— Непредсказуемы.

— Неописуемы, — сказал я. — Даже и думать об этом не хочу.

Но Тео настаивал, что я не могу жить дальше в уединении. Надо двигаться вперед. Внимательно слушая, я курил “Кармен” одну за другой, но его голос все не унимался. Брось курить, говорил он, познакомься с новыми людьми, и все шло хорошо, пока я не закурил 37-ю сигарету за день, которая оказалась лишней. Мне стало нехоро-

шо, и хотя Тео еще говорил, я вышел наружу подышать. Я стоял у подъезда и глубоко вдыхал — казалось, это помогало. Я уже собрался прогуляться к воротам и обратно, когда Джулиан положил руку мне на плечо.

Он развернул меня лицом к себе, а затем выбил пачку “Кармен” у меня из руки. Едва она упала на землю, он на нее наступил. Затем наступил еще раз и растер подошвой, хотя внутри оставалось еще три сигареты, включая и ту, что я всегда приберегал напоследок, перевернув на удачу вверх ногами. Джулиан сказал:

— 20 сигарет в день. Ты знаешь правила.

— Извини, — сказал я. — Мне надо сесть.

— Что насчет контракта?

— Порядок, — сказал я. — Я его подмахну.

Меня еще пошатывало. Тео и Бананас маячили за спиной Джулиана, а я смотрел на них, и в моем мозгу звучало единственное слово. Совет. Тео прошептал через плечо Джулиана: “Не бойся”.

— Хорошо, — сказал я Джулиану. — Я его подмахну. Но не здесь.

Джулиан отвел меня в дом и подождал, пока я вызову такси. Он и бровью не повел, когда я сказал ему, что мы едем в трущобы. Он хотел одного — чтобы я подписал его контракт, поэтому мол-

чал, пока мы ехали в такси, шли через пустырь, поднимались на лифте, и заговорил, лишь когда я открыл дверь квартиры номер сорок семь.

— Какая сырость, — сказал он.

Квартира знакомо воняла затхлым табаком и пылью, и я попросил Джулиана устраиваться поудобнее в комнате, которая раньше была клиникой. Он смахнул пыль с кресла Тео и уселся за стол. Я сел в кресло для пациентов. Он достал конверт из кармана пиджака и положил передо мной.

— Давай больше не будем тратить время, — сказал он. — Здесь смердит.

Он протянул мне ручку, а я достал контракт из конверта. Прочитал несколько строчек. Заметил, что держу ручку как сигарету.

— А, понимаю, — сказал Джулиан. — Делаешь вид, будто сомневаешься, чтобы я как следует понервничал.

— Ты всегда говорил, что я могу бросить, когда захочу.

— Разумеется. Но ты в такой степени мистер Икс, что тебе никогда не придет в голову бросить. Это просто не вяжется с твоим характером.

— Как-то глупо, а? Я могу схлопотать рак легких.

— А можешь и не схлопотать. К тому же в Гамбурге ты сказал, что хочешь умереть. Я думал, все дело в этом.

— Было, — сказал я. — Но потом я встретил Тео.

Я больше его не видел, но знал, что он с нами. Я чувствовал, как он подзуживает меня продолжать. Я сказал Джулиану:

— Ты ведь знал, что он одолел ВТМ?

— Откуда? Все его растения погибли в огне.

— А как насчет того, что ты украл?

— Оно погибло, — сказал Джулиан и глазом не моргнув, хотя мы оба знали, что устойчивый табак практически неуничтожим. — Контракт, Грегори.

— Зачем ты спалил лабораторию?

Взгляд Джулиана опустел. Он достал пачку "Сенчури". Выбрал сигарету и закурил, надолго задержал дым в легких, словно этого достаточно, чтобы не отвечать.

— Ты в это время был со мной, — сказал он, окружая дымом каждое слово. — В моем доме. Пил мое пиво.

— Джулиан, ты носишь пиджак и галстук. Ты отдаешь приказы. Вот что ты делаешь.

— Зачем мне поджигать лабораторию Тео? В ней были растения, из которых, может, получи-

лась бы безопасная сигарета.

— Я тебе не верю. К тому же откуда тебе знать? Табак надо проверять, а проверки займут вечность и все равно ничего не подтвердят, как это уже случилось.

— Думаешь, это сделал я?

— Это был способ заполучить табак Тео. Тео был прав. Ты не хотел перемен. Ты узнал о его открытии и испугался, что он этот табак продаст.

— Уверяю тебя, — сказал Джулиан. — Я ничего об этом не знал.

— Ты пригласил меня к себе, чтобы я дома не болтался.

— Кто тебе сказал?

— Затем ты уничтожил лабораторию, чтобы защитить "Бьюкэнен". На самом деле Тео давным-давно одолел ВТМ, но он знал, что так и произойдет. Он никому ничего не сказал, потому что знал: кто-нибудь вроде тебя придет и все уничтожит.

Джулиан посмотрел на свою пачку "Сенчури". Подтолкнул ее ко мне.

— Давай решим это как взрослые люди, — сказал он.

Джулиан уже довольно давно наступил на мои "Кармен". Я достал из пачки одну "Сенчури". Осто-

рожно повертел ее в руках и прочитал надпись над фильтром. Положил обратно в пачку вверх ногами и толкнул обратно через стол.

— На удачу, — сказал я.

Он достал перевернутую сигарету и закурил ее.

— Но только если сохранишь ее до конца.

— Перестань валять дурака, Грегори. Чем тебе еще заняться в жизни?

— Чем угодно. Я могу купить мотоцикл. Могу отправиться в Нью-Йорк.

— На какие шиши?

— Где я, поскольку не курю, не буду парией.

— Да, очень хорошо, Грегори, но эта шутка скучновата даже для тебя. Как и то, что сперва ты приволок меня в эту сырость. А теперь подпиши контракт. Ты знаешь, что в нем написано.

Еще десять лет уединения и опасной иллюзии, что я неуязвим, что я ничего не предлагаю внешнему миру и недоступен за пеленой сигаретного дыма. Только теперь я понял, что отказаться невозможно. Невозможно жить полностью отрешенным и нелюбопытным, потому что мир постоянно предлагает сорвать с него маску и не может иначе. Пора перестать быть статистикой и доказать, что я имею не только общественное значение.

Я бросил Джулиану ключ от квартиры.

— Оставь себе, — сказал я. — В качестве компенсации за дни, которые остались от первого контракта.

Джулиан вздохнул. Я видел, что ему жаль меня.

— Помнишь обезьян? — сказал он. — Знаешь, их никогда не отпускают на волю. Их не отсылают обратно в джунгли, выдав каждой первой запас "Кармен", а каждой тысячной — печатную машинку, чтоб они на пенсии накатали "Гамлета".

— Когда-то я уважал тебя, Джулиан. Можешь в это поверить?

— Мы убиваем их, Грегори. После окончания опытов мы их всех убиваем, а затем очень внимательно смотрим, что сигареты сделали с ними внутри.

— Ты мне угрожаешь?

— Конечно, нет.

— Ты изменился, Джулиан.

— Я квалифицированный врач.

— Ты похож на прежнего себя с пониженным содержанием смол.

— У меня первая степень. Я добиваюсь своего.

— С фильтром.

— Все, что у тебя есть, ты получил благодаря

мне.

— И без никотина.

Джулиан встал и наклонился над столом, опираясь на растопыренные пальцы.

— Ну так подписывай этот чертов контракт, — сказал он.

— Нет.

Он бросился на меня через стол. Я увернулся, встал и открыл дверь в приемную. Я почти дошел до двери в коридор, когда он сказал:

— Люси Хинтон. — Я замер. Обернулся. Джулиан не двинулся. — Она переспала с тобой на спор.

Я открыл дверь и вышел. Двинулся к лифту.

— Люси Хинтон! — отчетливо выкрикнул он, его голос несся от стола через приемную, следом за мной по коридору. — Я с ней трахался. Я все время с ней трахался!

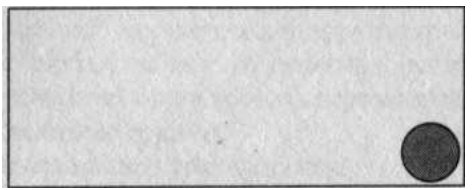
Я добрался до лифта. За дверями возникла женщина со спящим младенцем, завернутым в анорак. Во рту у женщины торчал окурок. Она вышла в коридор.

— Три недели! — верещал Джулиан. — Даю тебе три недели *максимум*!

Двери лифта с содроганием закрылись, отрезав голос Джулиана. Рано или поздно он неизбежно заметит очередь перед квартирой. Он знает, что

делать. Он же врач.

День 20



Я совершил большую ошибку.

В доме, на столе передо мной, — пенал фирмы “Хеликс” для научных инструментов. Теперь в нем листья табака. Нарезанные, заготовленные, измельченные и ароматизированные моими собственными руками.

Пачка папиросных бумажек.

Наверно, я что-то не так понял. Вряд ли мисс Брайант говорила, что рассказчик не может умереть. Скорее она учила нас, что рассказчик не может описать собственную смерть. Не всю, не до конца, по очевидным причинам. Значит, если верить мисс Брайант, рассказчик либо живет дальше, либо молча умирает.

На улице ясное раннее утро погожего весеннего

дня, этого и никакого другого. За моим окном, вот прямо сейчас. Белые облака в вышине. Самое оно для дельтаплана.



Richard Beard

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.